

ОЛЕГ ЛУКОШИН

Человек- недоразумение

РОМАН



Олег Лукошин

Человек-недоразумение. Роман

«Издательские решения»

Лукошин О.

Человек-недоразумение. Роман / О. Лукошин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-830966-3

Мог ли Володя Ложкин, башковитый ребёнок из интеллигентной советской семьи, представить, что в семилетнем возрасте вся его жизнь кардинальным образом изменится?.. Все рассаживаются за стол, звучит музыка, звенят бокалы. По телевизору — передача «Очевидное-невероятное», в которой академик Капица рассказывает советским гражданам о теории Большого взрыва. Володя понимает: всё блеф, всё иллюзия, всё подлый обман. Что делать со всем этим? Просто так жить? Ну нет!

ISBN 978-5-44-830966-3

© Лукошин О.
© Издательские решения

Содержание

Что-то вроде тезисов	6
Пробуждение	8
На смерть товарища Брежнева	14
Насилие	22
Бунт атомов	26
Казённый дом	31
Трусы и Абсолют	37
Скрытые смыслы Перестройки	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Человек-недоразумение Роман

Олег Лукошин

© Олег Лукошин, 2018

ISBN 978-5-4483-0966-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Что-то вроде тезисов

Я не придурок. Просто я не в ладах с окружающей действительностью. Попросту говоря, я не уверен в её существовании.

Смейтесь, смейтесь. Я слишком хорошо знаю, что такое смех. Я слышал его предостаточно за тридцать пять лет жизни. Вы кривите рот, морщите лоб, дрыгаете тельцем, издаёте переливчатые звуковые волны – это вроде как ваше снисходительное отношение к такому несущему субъекту, как я – я знаю все стадии, все переходы, трансформации и новообразования, я изучил их в подробнейших деталях, но вы представления не имеете о скрытых смыслах. О проявлениях иного. О догадках, разбросанных повсюду. Только самые настоящие придурки, да, да, я не стесняюсь называть вас так, могут не замечать их.

Земля. Вы говорите: «Земля». Да, именно это вы говорите. Вы говорите: «Вселенная». Вы так и говорите: «Все-лен-на-я». Вы самозабвенно шевелите щеками и языком, словно в ваших ртах растекается шоколадная конфета. Словно хотите насладиться этими понятиями, высосать из них все соки, вытребовать твёрдость взглядов и умиротворение. Вы любите эти слова. Они для вас сущее. Настоящее. Истинное. Они для вас основание к пониманию мироздания.

Обитаемая разумными существами Земля вращается в бесконечной Вселенной. Вот базис вашего мировоззрения. Стержень. Земля крохотна, хрупка и, что самое интересное, абсолютно уникальна в разумности своих обитателей. А Вселенная – бог ты мой! – Вселенная абсолютно бесконечна. Бесконечна-бесконечна-бесконечна. Бесконечна-бесконечна-бесконечна-бесконечна-бесконечна... И ещё бесконечное количество раз бесконечна... И темнота в ней, и пустота, и холод. Бесконечная темнота. Бесконечная пустота. Бесконечный холод.

Я знаю, у меня на этом пунтик. Я всё знаю, всё понимаю, всё чувствую. Один психиатр – неплохой, надо сказать, человек, по крайней мере, без гордыни и с чувством сострадания, фамилия его была, насколько помню, Игнатев – определил (точнее, сделал предположение, потому что все его определения по отношению ко мне заведомо не верны), что мои проблемы – о-хо-хо, он и иже с ним придумали этому эффектное слово, вроде бы нейтральное и в тоже время убийственное: «проблемы» – так вот, все мои так называемые проблемы связаны именно с рассуждениями о Земле и Вселенной. О Земле на фоне Вселенной. О бесконечности Вселенной и конечности Земли. О несоизмеримости этих двух форм, двух явлений, двух понятий. Короче, он сделал предположение, что я свихнулся – будем называть вещи своими именами, он именно это имел в виду – после долгих, мучительных, пугающих и в конце истерзавших моё сознание размышлений о Земле и Вселенной. И случилось это – то есть, по его психиатрически точному и отчётливому разумению, не то чтобы случилось, а обозначило первый сбой, первый катаклизм, первые неполадки (неполадки – вот над чем должен я смеяться в ответ, господа!) – в семилетнем возрасте. Да, именно в семилетнем.

К этому возрасту и тому озарению, что посетило меня тогда, я ещё вернусь и вернусь очень скоро, но сейчас необходимо обозначить ещё один пункт. Одну ось, одну дугу размышлений, один, я бы сказал, отход.

Вот в чём суть его: я готов согласиться с тем, что мир реален. То есть абсолютно реален. Что он существует, что его можно потрогать, полизать, побиться башкой о его тверди, показать ему кукиш и тэдэ и тэпэ. Я готов согласиться с тем, что он сущ и явен, но тогда возникает один очевидный и чрезвычайно волнительный вопрос: как может он вместить меня? Да, вот просто так: как мог он впустить в свою сферу меня, человека, с ним несогласного, с ним конфликтующего, его отрицающего, с ним борющегося, от него страдающего, его презирующего и самое главное, если опять же поверить в его существование, желающего ему погибели?

Игнатъев говорил, что я такой не один, что таких, как я – вагон и маленькая тележка. Это вроде как к тому, что этот долбаный мир вместил целую кучу олигофренов навроде меня и ничего ему не сделалось, а все мои рассуждения – ещё один аргумент в пользу моей невменяемости, а его, мира, прочности, цельности и незыблемости. Игнатъев был хитёр, но вы никогда не обманите обманщика. Слышите: никогда! Никогда никакой Игнатъев или любой другой человек, за иллюзию о тихой, спокойной жизни и мгновенном конце продавший своё пытливое (или не очень) сознание, единственное орудие, которым он обладает, единственный луч света, способный распахнуть покрывало темноты, не обманет великого обманщика, раз за разом оставляющего окружающую реальность – точнее то, что вы о ней представляете – в дураках, раз за разом наводящего на неё грандиозное посмеяние, раз за разом опровергающего её от и до, всю целиком, во всей своей грандиозной и монструозной химерности, никогда!

Гармония! Вот ключевое слово, которым вы оперируете по отношению к миру. И я согласен с вами: реальный, явный, существующий мир обязан быть гармоничным. В каждой своей точке, в каждом своём атоме, в каждом мыслительном образе. Живое и неживое в нём – суть одно. Они дополнения друг другу. Камень и растение. Растение и влага. Влага и человек. Человек и камень.

И этот реальный мир, хотите вы сказать, вмещает в себя яростные стремления к своему отрицанию и даже уничтожению? И в этом он гармоничен? Он позволяет это? Ему всё равно? Он настолько велик и аморфен?

Хорошо, предположим на секунду, что это так. Но, чёрт меня подери, мир, вся эта долбанная окружающая действительность – это лишь фрагмент моего сознания! Лишь фрагмент, слышите! Он не существует иначе, как в моём сознании, он покоится лишь там, ему просто-напросто негде больше пребывать.

Но если он там, если он всего лишь часть, если сознание, моё убогое и свихнувшееся сознание – а на его убогость и ненормальность намекают Игнатъевы, уважаемые, но наивные адепты действительности – вмещает его целиком и ещё оставляет место воображению и чему-то не вполне понятному, если я всего одним и не вполне могучим усилием могу погасить этот мир и любое воспоминание о нём в своём безбрежном сознании, всего одним усилием, то как же этот треклятый мир может существовать в объективной реальности?

Нет его, нет.

Или же другое: я просто-напросто не из этой реальности.

Пробуждение

Тысяча девятьсот восемьдесятый год. Мне семь лет. Мы живём в крупном провинциальном городе, почти миллионнике. Пусть это будет Воронеж, тем более что Воронеж это и есть. В Москве идёт Олимпиада – мои родители и старшая сестра смотрят её по телевизору – иногда я тоже присоединяюсь к ним. Что я помню о той Олимпиаде? Да ни хрена я о ней не помню! Ни одного спортивного результата, ни одной морды бездельника-спортсмена и ни одного кадра бестолковых спортивных состязаний. Помню лишь улетающего в небеса разжиревшего коричневого полумедведя-получебурашку – да и то лишь потому, что этот эпизод бесчисленное количество раз на протяжении десятилетий крутили потом по телеку.

Одно важное замечание: я не плакал, когда медведь взмыл в воздух. Я не какой-то там шизоид, не способный контролировать свои эмоции и рыдающий над примитивными постановочными действиями сомнительной ценности и значимости.

Вы плакали? Что, на самом деле плакали? Мои вам соболезнования. Так кто же из нас в таком случае придурок?

Мать готовится отметить тридцатилетие. Она совсем молода, но для семилетнего цифра «тридцать» чудовищно велика, мать представляется мне пожилой женщиной.

Кем представляются пожилые женщины? Пожалуй, призраками. По крайней мере, обе бабушки – словно не настоящие существа. Словно банши. Появляются на время, целуют, тискают, суют конфеты и (несмотря на протесты родителей) мороженое, снова исчезают в какой-то параллельной реальности, из которой выбираются лишь для того, чтобы потревожить моё спокойствие и вложить в меня раздумья и сомнения о природе человеческих взаимоотношений.

К тридцати годам моя мать имеет двоих детей, причём не я старший. Сестре, её зовут Наташа, уже одиннадцать. Меня зовут Вовой. Наташа и Вова – простые, стандартные имена, тогда всех детей называли просто. Это сейчас, в период суррогатной иллюзии суррогатной свободы пошли Анжелики, Ульяны и даже Фролушки – пожалуй, российские граждане именно в возможности давать своим детям эти несуразные имена видят одно из проявлений этой самой несуществующей свободы. Ну и хрен с ними! К именам я претензий не имею, это всего лишь набор букв для опознавания особей, если бы люди использовали цифры, было бы то же самое. Имена – пусть, я не вижу для них возможности опровержений.

Отец постарше. Да, определённо постарше. По крайней мере, в моей голове навсегда засела установка, что он старше матери. Вроде бы на два года. Впрочем, не суть важно. Что изменится во мне или в вас, если отец будет старше матери на пять или десять лет? Ничего, но приписывать ему года я не буду. Пусть будет молодым и счастливым тридцатидвухлетним отцом двоих уже давно не грудных детей.

Отец носит очки, усы и густую шевелюру с закрывающими уши прядями волос. Это модно. Это по-битловски, это даже почти по-хардроксовски. Прогрессивные молодые люди того времени обязаны если уж не любить, то хотя бы уважать хард-рок.

Что носит мать? Ну уж явно не усы. А вот очки на её улыбающемся личике тоже присутствуют. Мои родители – интеллигенты. Я даже больше скажу – они учителя. Они те самые люди, кто на практике выполняют советский социальный заказ – видит бог, дьявол и Коммунистическая партия Советского Союза, они выполняют его на отлично. За те семь или восемь лет, прошедшие с момента окончания педагогического института и доблестной, энергичной работы на ниве школьной педагогики, они выпустили в жизнь уже не один десяток (а, пожалуй, и не одну сотню) крепко подкованных и твёрдо нацеленных на служение обществу очкастых и патлатых юношей и девушек. Сейчас, спустя годы, вы можете лицезреть их выпускников на рынках и всевозможных торговых развалах городов России и ближнего зарубежья. Выпускники торгуют китайским трикотажем и польской косметикой. Выпускники согрываются

в морозы глотком-другим водки, жалуются на боли в пояснице и постоянный рост цен за электричество. Выпускники продолжают надеяться на что-то лучшее.

Мои родители не виноваты. Они не знали, что когда-то к нам заявится чуждый их убеждениям и физиологии общественно-политический строй. Они никак не могли предвидеть подобного развития событий. Впрочем, повинаясь стремлению рассматривать явления не односторонне, а с диалектической двурогостью, я могу заявить: а кто вообще решил, что эти выпускники, ставшие рыночными торговцами, неудачники или что-то в этом роде? Кто вообще решил, что советский социальный заказ состоял в создании инженеров и педагогов, а не рыночных торговцев? Ведь силы зла не один день готовили наступление частнособственнических армий на бедный Советский Союз. Они знали, что им понадобятся рыночные торговцы, а кто на эту роль подходит лучше, чем педагоги и инженеры? Так что советский социальный заказ понимался в те времена неправильно, истинная его сущность скрывалась от народа, просто об этом кроме злобешего капиталистического войска тьмы, уже почуявшего в советском строе слабинку, ещё никто не знал.

Эту теорию подтверждает и тот факт, что родители мои до сих пор, несмотря на пенсионный возраст, трудятся – я, пожалуй, из ещё оставшегося кое-где в конечностях уважения к ним употреблю именно это благородное русское слово «трудятся» – в педагогике. Я не шучу. Отец – в коммерческом (это значит – отстойном) вузе, мать – всё так же в школе. Они, в отличие от своих бывших школьников, на рыночную панель не выползли, продолжая упорно и мужественно возделывать никчемную пашню преподавательства. На самом деле, ничего другого делать они не умеют, это единственная возможность осмысленно продолжить своё брренное существование.

Они до сих пор бодры. До сих пор уверены в благородной значимости своей деятельности. Социальный заказ изменился, но он всё равно им по плечу – о, этих прожжённых учителей не испугаешь новыми непонятными определениями, они приспособятся и не к такому. Вот уже не первый год штампуют они на своём конвейере тонкой душевной организации конкурентоспособные и, самое главное, успешные личности, которые будут – нет, нет, не впаривать на рынках китайский трикотаж и польскую косметику – они будут заказывать её у поставщиков и распределять по дилерским складам и точкам, пребывая в современных офисах с самой современной оргтехнологией, кондиционерами и санузлами, где красуется итальянская сантехника.

А пока на дворе тысяча девятьсот восьмидесятый и мои родители при активной помощи совсем уже взросленькой, разумненькой и активненькой сестрицы Наташи готовятся к маминному дню рождения. Семья ждёт гостей.

– Вова, ты слышишь: звонят в дверь! Это наверняка бабушка и дедушка. Открой им, будь умницей!

– Вова, снова звонок! Это наверняка ещё одна бабушка с ещё одним дедушкой, открой же им немедленно!

– Вова, сынок, что ты какой медлительный, неужели ты не слышишь, что в дверь снова звонят? Это определённо коллеги по работе, нехорошо держать их на лестничной площадке, впускай их скорее!

И вот в доме полный бардак. Человек пятнадцать каких-то подозрительных граждан, из которых мне известны лишь две бабушки и два дедушки (заявились все, хотя дедушка Слава, мамин отец, по какой-то горделиво-обиженной причине юбилей матери посещать не желал) заполнили собой всё пространство двухкомнатной квартиры и с показной радостью совершают лихорадочные броуновские движения на обозначенной территории, желая маме счастье и ещё десять раз по тридцать лет жизни.

Да, у нас двухкомнатная квартира. Это удивляет вас? Ну правильно, по нынешним временам звучит диковато: семья молодых учителей, да вдруг с двухкомнатной квартирой! Э,

махните рукой и поверьте мне на слово: честно говоря я и сам не уверен в существовании тысяча девятьсот восьмидесятого года и всё происходящее в нём кажется мне проявлением моей безудержной фантазии.

Между прочим, вполне вероятно, что лишь фантазия это и есть...

Тем не менее, будем держаться намеченного курса – я хоть и неадекватен порой по человеческим понятиям, но всё же в состоянии удерживать в голове целостность. Да, у нас двухкомнатная квартира – в советские времена особых удивлений ни у кого это не вызывает. Более того, все не устают сочувствовать нам, потому что по всем писанным и неписанным нормам двухкомнатная квартира при двоих детях – это просто слёзы. Даже мне, семилетней бестолочи, понятно это. Нам нужна как минимум трёхкомнатная, и родители уже встали в профсоюзную очередь на улучшение жилья.

Чтобы больше не возвращаться к этой теме, скажу: трёхкомнатную квартиру мы не получим.

– Ну что, Вовка, скоро в школу! – треплют меня за волосы чьи-то руки. – Совсем уже большой. Как время быстро летит!

На носу первое сентября – чрезвычайно ответственный день для маленького мальчика Вовы, который направится с ранцем и букетом гвоздик в первый класс – причём именно в ту самую школу, где работают его папа и мама. Представьте себе, они работают в одной школе, мать преподаёт русский язык и литературу, отец – историю и обществоведение. Мысли о школе неявно, этак подспудно тревожат меня, потому что школа – это что-то тёмное, неизвестное и соответственно пугающее. Неявно – потому что, по самому большому счёту, мне всё равно. Я уже прошёл детский сад, а это, что ни говорите, заслуживает некоторого уважения. К тому же я умею читать, писать и считать где-то до десяти тысяч, знаю годы, в которые свирепствовала Вторая мировая война и даже могу назвать столицы пары дюжин государств, так что, по заверению родителей, в школе мне бояться нечего.

– Ну чё, Володь, – снова треплет меня кто-то по голове, голос свидетельствует, что обладатель рук сменился, – как там Картер в Штатах поживает?

– Вообще-то его президентский срок подходит к концу, – отвечаю я, взирая на дядю снизу вверх. – Так что поживает он, скорее всего, неважно. Придётся уходить на пенсию.

– О-о-о!!! – разносится по неровным рядам гостей восторженный возглас. – Вот это да! Вот это ребёнок! Всё знает.

Родители гордо и смущённо взирают на меня.

– А ещё я знаю наизусть стихотворение «Анчар», – продолжаю я развивать успех. И без какого бы то ни было одобрения, начинаю декламировать: «В пустыне чахлой и скупой, на почве, зноем раскаленной...»

Публика терпеливо выслушивает моё исполнение и, не дождавшись последнего четверостишия, награждает меня бурными аплодисментами. Я протестую, я знаю, что стихотворение не исполнено полностью и, перебивая людской говор уже успевших переключиться к салатам гостей, выкрикиваю последние строки: «А царь тем ядом напился...», – ну, и так далее.

Новый взрыв аплодисментов, более краткий и как бы говорящий о том, что в моей эрудиции более не нуждаются. Что я могу уйти на кухню или ещё куда подальше, что мои три минуты славы миновали. Сообразительный ребёнок, я понимаю всё с полунамёка и забиваюсь в угол.

Гости уже за столом. Водка в рюмках, картофельное пюре с салатами в тарелках. Звучат поздравления и подарки. Первый тост – за здоровье, молодость и красоту любимой и единственной супруги Танечки. Второй тост – за красоту, молодость и здоровье уважаемой коллеги Татьяны Степановны. Третий тост за молодость, здоровье и, конечно же, красоту дорогой доченьки и снохи.

Сестра Наташа сидит за столом, а вот я пребываю в своём углу на боковом поручне дивана. Нет, какое-то отношение к праздничному столу он тоже имеет – этот самый стол совсем недалеко, если вытянуться, то даже я могу достать кое-что, например, дольку апельсина. Но в то же время я как-то за пределами торжества, что меня в общем и целом скорее радует, чем огорчает. Мне не хочется вливаться в этот коллектив едва знакомых граждан.

Работает телевизор. Обычное дело для коллективных пьянок: хорошо полагаться на разговоры за столом, но почему-то часто случается, что они замолкают. Тогда можно переключиться на мудрое и обволакивающее телевидение.

Идёт «Очевидное и невероятное». Знаменитый академик Капица, сын ещё более знаменитого академика Капицы (у которого хватило мозгов телепередачу не вести и который всю свою мудрость делегировал сыну) треплется с гостем – тоже каким-то знаменитым учёным о теории Большого взрыва. Здесь я предлагаю всем немного напрячься и отметить сей момент как один из самых значимых в моём повествовании. Вполне возможно, что и самый значимый.

Живёшь вот так, живёшь, ни о чём не думаешь, ничего не подозреваешь, тебе уже семь, ты вполне счастлив, и вдруг, с какого-то непонятого хрена приходит ОНО. Оно самое, нечто невыразимое и неопределённое – мысль, дуновение, ощущение – которое меняет всю твою жизнь. Для меня таким моментом стал Большой взрыв в изложении академика Капицы и его учёного гостя. Ещё необходимо отметить, что раньше семи лет подобный момент со мной вряд ли мог произойти в силу простых биологических моментов – мозг был недостаточно массивен, нервная система недостаточно чувствительной для отклика на подобную информацию. Но семь лет – это возраст свершений. Именно к этому времени я созрел для Пробуждения.

Итак, по телевизору шёл высоконучный трёп двух академиков, сопровождавшийся сюжетом, в котором средствами мультипликации талантливые художники изобразили возникновение Вселенной. Теория Большого взрыва вам прекрасно знакома, не буду вдаваться в подробности: короче говоря, в один прекрасный момент из пустоты ни с того ни с сего возникла Вселенная, стала расширяться, заполнять собой Ничто, заполнила его полностью, породила звёзды, планеты и чёрные дыры. С какого-то не менее непонятого хрена на одной из планет появилась жизнь – она развивалась, трансформировалась, стала в один прекрасный момент разумной, а ещё в один не менее прекрасный момент извлекла из небытия меня, существо, осознавшее вдруг себя звеном этой величественной цепочки.

Разговор за столом развивался с энтузиазмом, в телевизоре надобность отпала. Кто-то из гостей попытался его выключить. По тигриному выпрыгнув из своего угла, я эмоционально предотвратил попытки к этому бесчинству, жалобно сморщившись, пискнув, что мне интересно и пообещав сделать звук максимально тихим. Меня оставили в покое. Мне позволили не расставаться с Капицей и Большим взрывом. Быть может, говорю я сейчас спустя годы, и зря. Впрочем...

Впрочем, я не настолько наивен, чтобы не понимать, что не случись Пробуждения в этот самый день августа этого самого восьмидесятого года, оно непременно случилось бы в день другой. Месяц, год или пятилетие спустя, но случилось бы обязательно.

Я уселся на пол перед телевизором с приглушённым до самого минимума звуком, я весь превратился в слух, я погрузился в переливы речи и образов, я пропускал их через себя.

Веселье за моей спиной продолжалось. Звучали тосты, звенели рюмки, папа уже включал магнитофон с той самой катушкой, на которой была записана группа «Бони М», а это означало, что вот-вот начнутся залихватские танцы. А я внимал рождению и развитию Вселенной.

В какой-то момент, я почувствовал, что со мной происходит что-то не то. Совершенно, абсолютно не то. В моё сознание вдруг проникло понимание, что всё вокруг – это что-то вроде обмана. Папа, мама, сестра Наташа, эта квартира, эти гости, детский сад и ожидаемая школа, наша улица, и наш город, весь мир, в общем – всё. Это некая кратковременная иллюзия, дымка, ибо стало понятно: я – всего лишь элемент гигантского развития каких-то неведомых и могу-

чих сил, элемент настолько крохотный и незначительный, что просто смешон и ничтожен на их фоне. Я понял со всей очевидной бесповоротностью, что я конечен. Я понял, что конечен не только я, не только мама и папа, но даже вся наша планета. Вся наша прекрасная зелёная планета однажды исчезнет, вот так-то. Более того, мне стало ясно, что даже эта грёбаная и огромная до безобразия Вселенная – она тоже может быть конечной – ведь если у неё было начало в виде Большого взрыва, то непременно у неё должен иметься и конец в виде какого-нибудь Большого затухания. И это при том, что она бесконечна. Само это слово – «бесконечность» – забравшись ко мне под кожу, в мгновение око пробуравило кривые ходы в недрах моего тела, прорвалось в самый мозг и разломилось там миллиардами блёсток – я испугался этой самой бесконечности. В общем, мне практически в одно-единственное мгновение стало ясно, что жизнь, обыкновенная человеческая жизнь с подъёмами на работу и учёбу, с рождением детей и выгуливанием собак, с приёмами пищи и хождениями в туалет, с просмотрами фильмов и чтением книг, с поездками к морю и в огород – вся она ничтожна. В ней нет никакого смысла, никаких последствий, никакой целесообразности. Она абсолютно тщетна, она случайна и стихийна, она пуста. Она сомнётся сжатиями и раздвижениями вселенных и – сколько их уже исчезло в её волнах! – она дуновение. Всего лишь мимолётное дуновение, и ничто больше.

Если сама жизнь – всего лишь дуновение, то что же на этом фоне я? Меня и дуновением-то назвать сложно, и даже песчинкой. Я просто какое-то большое-пребольшое недоразумение. Недоразумение, и ничто иначе.

Я испугался. О, верьте мне, я сильно-сильно испугался этому своему пониманию. Никакие другие испуги не сравнимы с этим грандиозным и великим ужасом. Я был расплюснут, раздавлен, смят, я был попросту уничтожен своим пониманием, я потерялся в причинности наедине с этим опустошительным ощущением.

Но всё это длилось лишь секунду. Может быть, две. Хорошо, я согласен на три, но никак не на большее. Больше трёх секунд это длиться не могло. Потому что ровно через три секунды я стал протестовать. Все без исключения психиатры и прочие знакомые со мной люди определяют этот протест как грань, отделяющую нормальность от ненормальности, но они не правы. Это грань, да, но совсем иного рода: между смирением и несогласием, грань между обречённостью и сражением. Вы смирились, вы отдались на поругание большой и непреодолимой значимости – поэтому вы считаете себя нормальным. Я начал протестовать, я изощрённо и артистично протестую и по сей миг – оттого попал в категорию придурков. Чёрт с ними, этими разделениями, мне плевать на них, мне плевать на то, как вы относитесь ко мне, потому что я знаю, что сильнее вас. Я веду борьбу, пусть она смешна и бессмысленна, но кто-то должен вести её. Если вы из трусости или каких-то других соображений отказались от неё, то я поднял с земли обронённую вами участь, я несу её гордо, с высоко поднятой головой, зная, что обречён на неудачу. Но смысл, вы слышите, смысл – он не в результате, смысл в самом процессе! Потому что результат всегда один и тот же – поражение, смерть, конец. Главное – процесс, главное – борьба.

В общем, ровно через три секунды я начал со всем этим бороться. Со всем. Со Вселенной, с Большим взрывом, с планетой Земля, с днём рождением матери и всеми людьми, присутствующими на нём. Я понял, осознал какими-то неведомыми доселе глубинами, что должен опровергнуть окружающее. Именно так: опровергнуть. Сделать нечто, что говорило бы о моём несогласии с ним. Полнейшем и непримиримейшем несогласии.

Что же, что же сделать? Как можно опровергнуть этот телевизор с программой «Очевидное-невероятное», эту песню «Still I'm Sad» в исполнении группы «Бони М» (песню, надо сказать, весьма соответствующую моменту и моему состоянию, но всё равно требующую опровержения), опровергнуть этот смех за столом и вот-вот готовые начаться танцы, опровергнуть накрытый стол и сидящих за ним людей?

Долго я не думал. Я был чрезвычайно быстр, просто стремителен в понимании своих методов борьбы и способов их осуществления. Чёрт возьми, уж кое в чём я всё-таки талантлив! Скорость, стремительность, решимость – вот мой талант. Неожиданность.

«Почему бы мне не покакать на пол?» – подумал я.

Признаюсь: вряд ли моя мысль была столь изящна, чтобы быть воплощённой во фразу именно с таким оборотом – «Почему бы мне...» Наверняка всё было проще и конкретнее, что-то вроде «Надо посрать» или даже вовсе без «надо». Но что я понял со всей очевидностью – это то, что я должен отомстить миру за такое грандиозное разочарование в его и моей природе. Я должен был его обгадить.

Я поднялся с пола, повернулся лицом к гостям, сделал к ним два шага – я был спокоен и уверен в правильности своего поступка. Я спустил шорты, в которых обыкновенно ходил по дому, а вместе с ними и трусы до колен, присел на корточки и поднатужился. Долго ждать не пришлось – буквально через мгновение моя прямая кишка издала грандиозный, ядовито-ядрёный пук, и извивающаяся змейка кала, с воодушевлением вырвавшись на свободу, устремилась к желтовато-коричневому, между прочим, совсем недавно приобретённому ковру.

Кое-кто из сидевших за столом гостей обратил на меня внимание ещё тогда, когда я спускал шорты, но для большинства я был слишком незначительной величиной, почти такой же, как для самой Вселенной. Но когда трепещущее, такое свежее и пахучее говно вырвалось из моей плоти, на меня мигом уставились все.

Чёрт, я даже теперь отчётливо помню все эти выражения лиц! Это недоумение, этот шок. Это была победа, полная и безоговорочная – хотя, разумеется, всего лишь кратковременная – победа над миром. Это был триумф. Мой триумф. Торжество слабого и незначительного существа над величием Абсолюта.

– Господи!!! – всплеснув руками, истерично вскрикнула мать и бросилась – что было затруднительно в силу её местонахождения за столом – ко мне. – Что с тобой, Вова?!

На её лице отражался ужас. Мне приятно думать, что этим лицом смотрела на меня в ту секунду Вселенная.

Я встретил её широкой, победоносной, торжествующей улыбкой.

На смерть товарища Брежнева

Нет, психиатры появятся не сейчас. Терпение, друзья мои, терпение. Я обещаю вам, я клятвенно обещаю, что без них не обойдётся. Куда уж без них такому бунтарю, как я?

Впрочем, не ждите от них чего-либо эпатирующего и ласкающего истерзанную примитивным гуманизмом беспокойную человеческую душу. Они скучны и нелепы, эти психиатры. Они просто тупы. Будь моя воля, я вообще бы выбросил их из своего повествования, но природная честность и научный подход к наблюдению за собственной личностью не позволяет расстаться с подобными эпизодами биографии.

Впрочем, не забить ли мне на них? Хоть раз в жизни, а?

Обещаю подумать над этим.

Итак, мой демарш особыми последствиями и далеко идущими выводами среди моих родственников – в первую очередь я имею в виду родителей – не обзавёлся. Нет, конечно же, взирать на меня они стали как-то более внимательно, задумчиво и многозначительно, но в целом их интерес за рамки тактичности не выходил. Мою выходку списали на юный возраст, усталость и раздражающую обстановку празднования дня рождения.

– Бедненький ты мой, – жалостливо гладила меня мама, укладывая в постель, – солнышко моё, притомили тебя! Устал, потерялся, забыл про туалет.

– Да он спал! – вносил свою долю оправданий в мои действия папа. – Спал с открытыми глазами! Ты видела, какое выражение лица было у него в ту минуту? Ему снилось что-то!

– Наверное, он думал, что добрался до туалета, – даже сестра Наташа, с которой отношения мои складывались непросто, пыталась встать на мою сторону, – вот и наложил на пол. Я часто видела, как он каким-то странным делается. Словно в обмороке, но сознание не теряет.

– Часто? – воскликнула мама.

– Часто? – изумился папа.

– Что же ты молчала всё это время?! – хором выдали они могучий упрёк, после которого моя ранимая сестра не могла не расплакаться.

– Я не думала... – захныкала она. – Я не знала...

После бурного семейного совета, который ещё то и дело стихийно возникал в течение нескольких последующих месяцев, решено было лечить меня хорошо известными народными способами – травами, чаями с малиновым вареньем, распаристой русской банькой и продолжительными прогулками на свежем воздухе. Возникавшие в процессе обсуждения слова «врачи» и «больница» были тотчас же отклонены, как слишком крепкие и травмоопасные. Родители, часто мыслящие как одно единое целое (между прочим, сейчас я, кажется, осознаю, что они женились по любви и очень подходили друг другу), этот радикальный вариант тогда отвергли.

– К ним (тем самым психиатрам, надо полагать) один раз попадёшь, – подвёл резюме родительских раздумий отец, – и на всю жизнь медицинскую карточку испортишь.

На том и порешили.

Мне смутно вспоминается, что пару, а то и тройку раз со мной действительно проводили некоторые названные выше процедуры – поили чаем с вареньем, вроде бы гуляли, а ещё отец водил меня в тир, что, видимо, должно было развеять мою грусть-тоску и прочую неадекватность разом и на веки-вечные – но, занятые работой и рутинными, обязательными к исполнению домашними делами, они потихоньку спустили всю свою грандиозную деятельность по моему исцелению на тормозах.

Я их не виню. Я и вовсе не нуждался ни в каком лечении, ни в каких банях и прогулках, я был и остаюсь нормальнее всех нормальных, а потому должен выразить своим тактичным родителям лишь слова благодарности за их добросовестное исполнение супружеских и семейно-бытовых обязанностей. Изменить меня или как-то повлиять уже никто не мог. Я прозрел, я

отрастил третий глаз, я проник за пределы обыденности – а потому становился с каждым днём всё твёрже в своих убеждениях о неподчинении миру, борьбы с ним и окончательном разоблачении.

Впрочем, был, был некий момент (или даже три-пять-десять моментов), когда на меня находило что-то вроде стыда и разочарования за свою выходку. Человек слаб по определению, я тоже не исключение, общественные стандарты влияли в то время и на меня. Сказать по правде, я не избавился от них полностью и по сей день. Этот процесс, по всей видимости, бесконечен, освободиться можно всю жизнь и даже по её окончании. Стандарты сильны, коварное общество разработало и почти с успехом внедрило в повседневность нормы и правила – сделав это, конечно же, с целью предотвращения бунтов, подобных моему – в большинстве случаев они срабатывают в выполнении своих охранительных функций. Лишь немногие, наиболее сильные человеческие особи способны противостоять этому давлению. Я говорю сейчас не о себе, я понимаю, что я не самый стойкий боец, я уверен, что они существовали до меня и вероятнее всего существуют и поныне, по крайней мере, я постоянно встречаю проявления человеческих бунтов во всевозможных сферах – в искусстве, например. У каждого такого индивида бунт, если он вызревает, находит в чём-то и где-то свои проявления, но не у каждого он становится ежедневной, постоянной и целенаправленной деятельностью. Человек ищет спокойствия, он надеется на гармонию, он жаждет прожить отмеренный ему промежуток времени без душевных всплесков и нервных потрясений. Я выбрал другое. Я выбрал исключительно всплески и единственно нервные потрясения.

Но в те детские годы я был ещё недостаточно стоек для их целенаправленного претворения в жизнь. Тогда мне казалось – ошибочно, разумеется – что с миром можно найти какой-то компромисс, завязать некую дружбу, найти тишину и успокоение. Чёрт возьми, мне тоже хотелось покоя! Несуществующего. Нереального.

Через несколько дней я отправился в первый класс.

В школе мне с первого же дня не понравилось. Ещё бы! Кому и когда нравилась школа? Самым неприятным в ней было то, что она не оставляла ни пространства для уединения, ни единого мгновения на целостность. Насилие, насилие и ещё раз насилие – вот что такое школа. Тебя постоянно держат в узде, от тебя постоянно чего-то требуют – может, они и правы во имя твоего будущего, во имя предстоящей социализации и стратификации – но к чему будущее, если всё в этом мире бессмысленно?

Помнится, меня посадили за третью парту в среднем ряду. Слева. Рядом сидела некрасивая, постоянно морщившаяся девочка с бантиками, по выражению лица которой я понял, что общение у нас не получится никогда и ни при каких обстоятельствах. Не скажу, что я сильно расстроился от этого, по правде говоря, я даже обрадовался, я вообще не был склонен к общению, даже до Пробуждения, а уж после него и подавно. Я вглядывался в лица окружающих меня сверстников, в надежде увидеть в них то самое, единственно правильное выражение, которое говорило бы о том, что его обладатель пережил то же, что и я, что он встал на тропу войны, что он не согласен мириться ни с чем на этом свете, даже с пуговицами на рубашке и тетрадями в клетку... но столь возжеланные мной проявления похожести на лица одноклассников отсутствовали. Это были обыкновенные, послушные, бестолковые дети, внутреннего мирка которых категорически не хватало на мыслительно-эмоциональные путешествия за пределы обыденности.

Гордыня. Я понимаю, что это зовётся гордыней. Ещё – высокомерием. Чванством. И какими-то другими звучными словами с отрицательной коннотацией. Но слова не важны, мне плевать на их смысл. Правило одно: если ты желаешь сохранить целостность, необходимо отгораживаться от окружающего. Агрессивно и нервно, либо тихо и незаметно, но отгораживаться необходимо. Чтобы тебя не размыло, не растворило во всеобщем аморфном потоке,

не рассосало на безликие атомы. Быть может, в этом и состоит настоящий смысл жизни – слиться с человечеством в единой бесцветности, потерять собственное «я», а с ним и невыносимую рефлексию – самое страшное, чем одаривает тебя Природа – быть может, в этом и состоит облегчение и даже счастье, ведь жизнь пронесётся быстро и уйдет, а также его ожидание не будут такими колючими и болезненными. Но вступив однажды на тропу осознания, пережив это самое осознание, или точнее первые его проявления так ярко и весомо, тебе уже никогда, да, да, никогда и ни за что не создать даже самой ничтожной иллюзии отстранённости, покоя и размеренности. Себя, ту гадкую отметину, что внутри, не обмануть. Она непременно найдёт повод вылезти наружу и ввергнуть всё твоё существо в очередную пучину хаоса.

Протест против школы жил во мне с первого до последнего мгновения учёбы. В первые годы он выражался достаточно пассивно: по крайней мере, мне помнится, что срать посреди класса я не пробовал. Во мне возникло ощущение, что мир можно взять измором, тихим горделивым бунтом, когда вроде бы никто и не понимает о том, кто ты есть на самом деле и чем ты на самом деле занят. Мой бунт был направлен внутрь: вызванный учителем к доске и прекрасно знающий тему урока, готовый ответить и получить за свой ответ не меньше трёх «пятёрок», я предпочитал не делиться знаниями с окружающими. Молчал, тупо глядел в потолок, прикусывал губы и мучительно выдавливал из себя крохи бурливших во мне знаний, которые так и жаждали излиться из меня фонтанирующим потоком. С первых же занятий я прослыл тупицей и тормозом, что невероятно вдохновляло меня. Знать, что ты умнее всех на этой территории, понимать, что ты несоизмеримо весомее всех, ведь ты пережил и прочувствовал то, чего никогда не предстоит прочувствовать им, ведь ты борец, бунтарь, титан, чёрт побери, нацеленный на уничтожение окружающего, а кто они? Жалкие послушные человечки, тихие блеющие овцы, ради дешёвого и бессмысленного одобрения пожилой тётеньки-учительницы готовые на беспрекословное исполнение её маразматичных требований.

В сдерживании огромная сила. Ты тихо и злорадно перемалываешь своё торжество внутри, наполняя всё пространство сознания блистающей и звенящей субстанцией величественной обособленности. Это сильнейшее, поразительное чувство, в которое я всегда с готовностью погружался (и рад погрузиться до сих пор), чувство, которое приносило мне настоящее удовлетворение.

За бунт надо расплачиваться. Вы знали об этом? Ещё нет? Ну так знайте.

За свою революционно-пассивную позицию я был вскоре наказан. К концу учебного года пожилая тётенька-учительница, преподававшая нам, первоклассникам, как и положено, все предметы, торжественно объявила меня идиотом. Если бы она сделала это в классе, в присутствии таких же первоклассников, как и я (чем, собственно говоря, она занималась постоянно в течение всех учебных месяцев), это вряд ли вызвало изменения в моей достаточно счастливой, хоть и беспокойной в мыслительной сердцевине жизни. Но она сделала это на школьном педагогическом совете. Слова её клятвенно подтвердила школьная медичка, каким-то не то практическим, не то эмпирическим методом установившая во мне серьёзные проявления неадекватности. Выяснилось, что за весь год я ни разу не выполнил домашнего задания, не дал ни одного правильного ответа и вообще, кроме ковыряния в носу, ничем не занимался. Даже родители-учителя, трудившиеся в той же школе и навещавшие меня на переменах, а то и на уроках и уж конечно настойчиво требовавшие от меня выполнения заданий дома, никоим образом не смогли на меня повлиять.

После обсуждения моей будущей участи, на котором присутствовали и мои родители, меня решено было перевести в коррекционную школу. То есть, попросту говоря, в школу для отстающих детей. А если выражаться предельно точно – школу для дебилов. Надо сказать, что родители мои восприняли это известие достаточно спокойно. Уже спокойно. И даже не проти-

вились ему, хотя могли – им бы всё же пошли навстречу. Потому что год мучительной борьбы за возможность считать меня нормальным ребёнком, который может учиться на нормальные оценки и у которого впереди нормальное человеческое будущее, истощил их и морально, и физически. Они не признавались себе в этом, но на самом деле уже махнули на меня рукой.

Мне вспоминается один из их диалогов, исполненный шёпотом на кухне – дабы оградить нас, детей своих, от тех шокирующих истин, которыми они бросались друг в друга. Несмотря на шёпот и закрытую кухонную дверь, я отчётливо услышал его из детской комнаты.

– Это ты виноват, – ядовито шипела на отца мама. – Мне же говорили, что у тебя брат деда был слабоумным.

– Я не знал его, – слабо пытался оправдываться папа. – А наговорить могут всё, что угодно.

– Думаю, что меня ещё пожалели. Не рассказали всего о нём. Недаром врачи всегда спрашивают про наследственность. Господи, – даже интеллигенты вспоминают в такие минуты Всевышнего, – что же нам теперь делать?

– Давай ходить на консультации к врачам, давай читать специальную литературу. Возможно, какое-либо лечение или операция помогут ему.

– Операция? О чём ты говоришь?! Я не позволю ковыряться в мозгах моего сына.

– Ну почему обязательно в мозгах? И потом – если это будет ему на благо...

– Как, как он теперь будет жить в этом жестоком мире?! – я так и видел, как моя мама в бессилии заламывает руки. – Мир не примет его. Отвергнет. Господи, за что нам такое наказание?

Я ни в чём не виню своих милых и таких чудовищно обыкновенных родителей, они всегда желали мне только лучшее. Бедные, они полагали, что жизнь, которой живут они – это и есть квинтэссенция правильности и даже некоего счастья. Что ходить на работу – это хорошо, что рожать детей – это хорошо, что ездить на выходных в огород (чего я не любил больше всего на свете) – это ещё лучше. Увы, я так не считал.

Им было тяжело, им было ужасно тяжело. Ребёнок из учительской семьи, семьи, представители которой работают в той же школе, да вдруг тупой, и это при том, что старшая дочь умница и активистка. Это настоящий удар для тихих, но гордых интеллигентов. Не было за этот год вечера, чтобы они не разговаривали со мной долго, обстоятельно и нудно, не было вечера, чтобы они не решали со мной задачи и не делали упражнения по русскому языку, не было вечера, чтобы они не трясли меня за плечи и не орали истерично, пытаясь вернуть меня на путь истинный – всё напрасно. Всё, всё, всё. Абсолютно всё. Я их победил.

Не знаю, как они пережили это. Вряд ли вся эта нервотрёпка прошла для них бесследно. Сейчас я вспоминаю, что они очень изменились в то время, изменились внешне – как-то осунулись, похудели. Глаза, бывшие до той поры живыми и горящими, потускнели. Они заметно состарились. Впрочем, я не испытывал к ним никакой жалости. Почему я собственно должен жалеть их? Надо было хорошенько думать, прежде чем заводить детей. Родили, видите ли, игрушку для собственного развлечения, а потом оказываются недовольными, когда игрушка ведёт себя не так, как обещал вкрадчивый продавец по имени Природа. Игрушка сопротивляется, игрушка опровергает их, игрушка не ставит их ни в грош.

Как ещё я должен был вести себя с родителями, скажите на милость? Они – первая линия атаки окружающей действительности на мою первозданную целостность. Я был обязан отразить их нападения и обратить врага в бегство, я был обязан победить.

Что и произошло.

Следующей осенью я отправился в коррекционную школу. Она располагалась совсем недалеко от той школы, где я учился раньше. Мне даже не требовалось пользоваться услугами

общественного транспорта, лишь дорога стала на десять минут длиннее. Я снова отправился в первый класс. Ну, а чего вы хотели? Не переводить же меня во второй, если я и программу первого не смог освоить.

Признаться, я волновался, отправляясь учиться в школу дебилов. Всё же я не дебил. Всё же я понимал, что настоящие дебилы могут оказаться агрессивными и совершенно неуправляемыми, всё же я представлял, что с настоящим дебилизмом могу не справиться.

Но волнение моё оказалось напрасным. Как выяснилось вскоре, настоящие дебилы практически ничем не отличались от обычных учеников с приличной успеваемостью. Ну подумаешь, не знают таблицы умножения и не умеют написать элементарных русских слов! Разве это чем-то отличает одну человеческую особь от другой? Разве в этом состоит принципиальное отличие? Разумеется, нет. Ну подумаешь, что они немного диковатые, кричат и бесятся, выплёскивают свои эмоции не там, где положено и в неположенное время – это также нельзя назвать существенным отличием от нормальности. По существу, в основных своих проявлениях, в самых главных стремлениях – они такие же. Они стремятся к семье и детям, к какой-то невнятной, каторжной работе, к телевизору и сытному обеду. В них нет ни малейшего бунта.

Хотя, признаться, поначалу, в самый первый месяц учёбы я было подумал, что судьба занесла меня в среду таких же воинов духа, как и я. Таких же борцов против данности. Чёрт, мне показалось, что в их глазах – не всех, далеко не всех, но и тех, необычных, было немало – я вижу то же самое, что должно таиться и в моих глазах: протест. Да, в глазах многих из них таились огоньки протеста, но, как вскоре мне стало ясно, протест их не носил всеобъемлющего начала, он не касался мироздания как такового. Он был примитивен и пуст. Закукарекать в классе или громко крикнуть на перемене матерное слово – это было бы неким подобием Настоящего Протеста, если б за ним стояло нечто большее – желание общественной анархии, уничтожения условностей, смятение табу. Но нет, на такое они были неспособны. Кукарекали они исключительно ради кукареканья. Ну, может быть, ради тупого внимания окружающих. С той же целью выкрикивали матерные слова. Я, уже готовый возразить таким несогласием с системой, достаточно быстро смекнул, что восторгаться тут нечем. Что школа для отстающих недаром прибрала их к своим рукам, что «дебил» – как это ни парадоксально, достаточно точное определение их сущности.

Жизнь моя и учёба мало отличались от того, что было раньше. Изменения произошли лишь в том плане, что я стал немного отвечать на уроках и готовил кое-какие задания, ибо понял, что в среде, где уроки не учит каждый и делает это не из каких-то далеко идущих целей, а просто от глупости, совершать то же самое смешно. Никто, включая меня самого, не воспримет мои действия как целенаправленную социально-философскую акцию.

Из всех осознанных и предельно публичных действий тех первых школьных лет, настоящих протестов, ярких и в некотором смысле художественно выверенных, наиболее запомнился мне один. Тогда шёл ноябрь тысяча девятьсот восемьдесят второго года, я был учеником второго класса «в» (как известно, литера «в» даже в обыкновенных средних советских школах всегда обозначала класс наиболее проблемный по части интеллекта в параллели; какие же трагические глубины абсолютной безнадежности скрывала она в школе для отстающих!), вяловатым, совершенно бестолковым, как с виду, так и внутри (бестолковым, бестолковым, не надо себя утешать – я не был придурком, но я ещё чрезвычайно много не понимал ни в себе, ни в зловещих переживаниях реальности) – как вдруг умер Брежнев.

Должен признаться, что я всегда любил дедушку Брежнева. Он безусловно лучший правитель нашего государства (которое даже как общественно-политический институт – величайшая управленческая ошибка в истории человечества, ну, а уж как объективная данность – и вовсе дичайшая несуразица) за все годы его существования. Я не раз слышал мнение, что только при нём люди прожили более-менее спокойно. Мне трудно уловить смысл слова

«пожили» в данном контексте: по всей видимости, он не заслуживает моего восхищения и в корне расходится с моими идеалами существования, но и не из-за мнения окружающих нравился мне Леонид Ильич. Был он каким-то – по крайней мере, в моих глазах – абсолютно несуразным, в высшей степени чужеродным образованием во всём этом пантеоне советских политических деятелей. Словно он, будучи персонажем из мультфильма про Винни-Пуха, будучи самим Винни-Пухом, взял, да и переместился волшебным образом в научно-популярный фильм о технологии изготовления цемента.

Всё это мне довелось осмыслить позже. Это я сейчас, взрослый, битый, будем считать не сломленный и кристально ясный в понимании бессмысленной, как всё остальное, верно-сти многолетнего, весьма рискованного образа жизни, выборматываю все свои умозаключения и стародавние наблюдения в пустоту, а тогда, в дремучем детстве я тянулся к Леониду Ильичу просто по причине детской, этаким щенячьей непосредственности. Видимо, я всё же должен был к кому-то тянуться, совсем без этого нельзя. Брежнев подходил как нельзя кстати – он был смешон и несуразен, как и я, а значит, мы были одной крови.

С какого-то неслабого хрена идиотский урок идиотской математики был прерван и, весьма разочарованных и даже растерянных тем, что вместо традиционного дуракаваляния приходится маршировать рядами по коридорам и лестницам, пошатывающихся не то от усталости, не то от хронического слабоумия дебилов-второклассников повели в спортивный зал. Туда же, почти такими же стройными, пошатывающимися рядами подползали и остальные школьники коррекционного учебного заведения, с первого по восьмой класс (восьмой был последним; девятый и десятый, как очевидная платформа для поступления в институт в коррекционной школе отсутствовали – дебилам в высшую школу ходить не рекомендовалось).

Такого на своей памяти не помнил никто: собрать в спортзале разом всю школьную братию – это было как-то чересчур даже для дебилов. Мрачные, напряжённые, потерянные они всматривались в таких же напряжённых и потерянных (мрачными они были постоянно) учителей, всматривались друг в друга, и с каждым новым взглядом терялись всё больше. Ни кукареканья, ни изящного матерного словца не разносилось над сводами помещения. Все были (представьте только – ещё не подозревая о случившемся!) траурно молчаливы.

Никого не пришлось успокаивать, когда на середину зала выползла директриса – потрёпанная, морщинистая, уже почти целиком седовласая, но довольно шустрая тётенька. Все поняли вдруг: сейчас на них обрушится Страшная Правда. Правда из жизни страны, которая, как известно часть нас самих, правда яростная, неистовая и беспощадная.

Вы удивляетесь тому, что дебилы способны так тонко чувствовать перепады общественной жизни? О, не стоит недооценивать дебилов! Именно они и ощущают эти самые перепады наиболее болезненно. Собственно говоря, именно они и порождают эти самые перепады, становясь Капитанами Общественной Жизни, Погонялами Тучных Человеческих Масс и вообще всякими разными Благоделателями, Несущими Неугасимый Свет. Вряд ли я буду первым, кто скажет, что именно дебилы в конце концов становятся правителями государств. Это не эмоциональная оценка обиженного жизнью человека, ничуть, это всего лишь усталая констатация факта.

– Ребята! – тихо и выразительно молвила директриса. – Произошло нечто страшное... Умер генеральный секретарь Коммунистической Партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев.

Вся школа, все несколько сот человеческих тел и душ, вздрогнули. (Я полагаю, их было штук пятьсот, не больше – всё же коррекционная школа насчитывала значительно меньше учеников, чем обыкновенная общеобразовательная).

– Это невыразимо трагическое событие, – продолжала тётенька, – в жизни нашей страны. Мы, весь советский народ, в одночасье осиротели. Честно вам скажу: когда сегодня утром я узнала эту новость, мне стало страшно.

Невыносимо страшно становилось и дебилам.

– Меня словно бы оставил родной отец. Человек, который заботился обо мне и оберегал.

Думаете, директриса паясничала или говорила сознательную неправду в силу своей должности, неправду, которую вынуждена говорить постоянно? Ничего подобного: она была кристально искренна. Искренна, как наверное никогда в жизни.

Здесь необходимо добавить о том, что весь советский народ в то время жутко боялся ядерной войны. Его запугали ею до такой степени, что лишь немногим удавалось избавиться от гнетущего ощущения предстоящего апокалипсиса. Одним из таких немногих был я: ядерный апокалипсис виделся мне привлекательной и волнительной перспективой разрешения конфронтации с миром. Смерть в ядерной войне пугала меня меньше, чем смерть от старости, зато одновременная с моей смертью гибель окружающей действительности представлялась мне едва ли не идеальным разрешением нашего с ней спора. Я жаждал войны, я стремился к ней и даже подумывал написать Рональду Рейгану письмо с просьбой сбросить на наш город ядерную бомбу. Моя соседка, Таня Абросимова, абсолютная дура без всяких скидок и возражений, напротив, как-то раз написала и даже отправила Рейгану письмо с чистым детским призывом остановить ядерное безумие. Об этой её выходке каким-то образом узнало школьное руководство и руководство гороно, Таню заставили читать почему-то снова вернувшееся в Воронеж из Америки письмо перед классом, возили её на какое-то общегородское мероприятие в защиту мира и едва не перевели в нормальную школу, но вовремя передумали. Недалёкие гуманисты из гороно, взглянув в её сумасшедшие очи, вдруг отчётливо поняли, что письмо Рейгану с просьбой о мире – это не осознанный, миролюбивый акт советской девочки, а очередная ступень в её непреодолимой ментальной деградации.

Ядерной войны боялись все. И в народе, в самых широких его массах, включавших даже некоторый процент управленческого звена, твёрдо угнездились убеждения, что американцы начнут войну ровно тогда, когда умрёт Брежнев. Все так и говорили: «Вот умрёт Брежнев и будем со Штатами воевать. Обязательно, обязательно будем. Без войны не обойтись».

В том числе и поэтому были жутко напуганы дебилы. Хотя они и не знали таблицы умножения, но пугающий образ смерти являлся порой и к ним, они успели прочувствовать его неприязненный холодок, они успели отшатнуться от него. Умирать дебилы не хотели. А смерть Брежнева в их куцых умишках почти наверняка означала и их собственную смерть.

– Я предлагаю почтить память Леонида Ильича минутой молчания, – закончила свою речь директриса.

Звенящая тишиной и пустотой минута началась. Все трагически смотрели в пустоту и жаждали пережить эту гнусную минуту поскорее. Как вы знаете, минута молчания никогда не длится целую минуту, эти шестьдесят астрономических секунд. Хорошо, если молчащие выдерживают секунд тридцать. Потому что молчать целую минуту, да ещё коллективно – это по-настоящему тяжело. Видимо, и в этот раз молчание длилось бы секунд двадцать пять, но нашёлся человек, который ярко и грациозно испортил всю обедню.

Этим человеком был, конечно же, я.

Я заржал во всё горло, и булькающий мой смех цинично и оскорбительно грозowymi перекатами разнёсся под сводами спортивного зала. Я ржал, потому что выражал этим свой протест против смерти симпатичного мне Винни-Пуха Брежнева, протест против смертей вообще и всей манерной скорби, которая сопровождает их, протест против обстоятельств жизни и паскудного мироустройства, не сумевшего придумать ничего лучше для собственных

обитателей кроме начала и конца. А ещё я ржал потому, что мне было просто очень смешно. Я чувствовал себя Избранным, гигантом мысли и духа, человеком абсолютно и бесповоротно возвысившимся над толпой – ведь всех их вёл один мотив, одно настроение, один чужеродный толчок в определённые эмоции, а меня он не вёл. Я не подчинялся ему, я был ему неподвластен, я был свободен от церемониальных причуд общества, мне и особых усилий не потребовалось, чтобы стряхнуть это наваждение с плеч, я был многократно сильнее его.

Пятьсот человек испуганно и страдающе взирали на хохочущего второклассника, а он всё не унимался. Смех нарастал, усиливался, обрстал звуковыми и смысловыми обертонами, хрюканьем, повизгиваниями, смех неистовствовал и торжествовал.

Усатый завуч, мужичок предпенсионного возраста по кличке Таракан, подскочив ко мне и весьма болезненно схватив за локоть, вытащил меня из спортзала в коридор. Едва мы оказались за дверями, несколькими точными, почти профессиональными ударами в живот он сбил мне дыхание, отчего смех мой разом прекратился, подтащил меня к стоящим в коридорах умывальникам – ими предполагалось пользоваться перед посещением столовой, тоже бывшей поблизости – и, открыв кран, ополоснул мою кристально ясную башку под струёй холодной воды. Я понял, что перформанс закончился и не сопротивлялся. Это понял и завуч. Расслабившись и даже вроде бы слегка улыбнувшись – не то моей выходке, не то тому, как ловко он сумел её прекратить – он врезал мне чувствительный подзатыльник и отпустил.

Почти тут же прервалась и минута молчания. Разом повеселевшие дебилы шумно принялись выбирать в коридор.

За действие моё мне ничего не было. Никто не воспринял мой гомерический хохот как акт экзистенциального противостояния мироустройству. Для всех он стал лишь ещё одним рядовым и будничным проявлением детского слабоумия, столь естественного для данного заведения.

Признаться, я весьма расстроился этим. Мне хотелось хотя бы немного пострадать за свои убеждения, пободаться с реальностью, пусть и в очередной раз проиграть, но всё же дать ей понять, что она имеет в моём лице серьёзного противника.

Увы, пока она слабо реагировала на моё неприязненное к ней отношение.

Насилие

Я дитя любви, чёрт меня подери! Я рождён от великой и неугасимой искры, движущей причинностью. Быть может, мои родители и не высекли её той мимолётной ночью, когда тво-рили меня в жарких и липких объятиях. Быть может, их любовь нельзя назвать великой, она определённо не вечная и, может быть, и не любовь вовсе, если принимать в расчёт наиболее грандиозное значение этого понятия. Дело не в этом. Я вне всякого сомнения порождение Великой Любви, существующей где-то за пределами видимого, осязаемого и представляемого. Где-то в другой Вселенной. Она сотворила меня своими дуновениями и по какой-то ошибке запустила сюда, в параллельную Вселенную, в этот мир абсолютного и безостановочного наси-лия.

Как я оказался здесь? Космический корабль, способный преодолевать толщи мирозда-ний доставил меня сюда? Смещение вселенских плит породило досадный зазор, в который проскользнула моя сущность? Или же некие могущественные силы, Творцы Вселенных, осо-знанно поместили меня в насилие с целью проведения научного эксперимента по выявлению всех аспектов соприкосновения крайностей? Кто знает, кто знает...

Мне очевидно одно: я не из этого мира. Я его враг. Его противник, его ниспровергатель. Его лютей ненавистник. Повторюсь, я не уверен в существовании окружающей действитель-ности, мне не верится, что действительность, подобная этой, может существовать.

Это мысли придурка, думаете вы? Ну и насрать. Мне уже давным-давно всё равно, что вы там себе думаете.

Что в ней плохого, спросите вы меня, в этой самой окружающей действительности? Это мир так красив, так волнующ. Голубые моря, зелёные чащи лесов, извилистые изгибы гор. О, нет, нет, я люблю моря. Я обожаю леса и горы, я часами готов смотреть на их изображения и даже порой пребывать в их ипостасях, я вполне способен оценить их прелести. Я даже людей, это самое несуразное и ненужное создание за всё бесчисленное количество Больших Взрывов, если были они в действительности, готов принять как сущее, как некую данность, с которой надо мириться, сосуществовать, дружески относиться и даже испытывать к ним доброжела-тельные эмоции, хоть это и чрезвычайно, чрезвычайно непросто. Я не могу принять насилия, на котором держится здесь всё.

Существование, в котором есть рождение и смерть – это насилие. Их не должно быть, не должно. Ни рождения, ни смерти. Как же так, скажете вы, ведь с чего-то всё должно начи-наться! А вот и нет! Вот и нет! Не должно ничего с чего-то там начинаться. Всё и так уже есть! Всё есть! Я есть, вы есть, есть ещё сонмы каких-то созданий, немислимых сущностей, идей, эмоций и чувствований, мы есть помимо череды рождений и смертей. Мы есть. Если мы есть, значит дихотомия с рождением и смертью неверна, абсолютно неверна. Значит она ложь, насаждение, значит она осознанное насилие.

Как можно быть свободным, будучи рождённым? Как, спрашиваю я вас? От первой до последней секунды человеческая жизнь превращается в кабалу. Ты существуешь, ты ощу-щаешь собственное тело, ты способен осознать и даже порой проконтролировать движение собственных мыслей – но это несвобода, это насилие. Ты целостен и явен – это порабощение. Ты твёрд, ты имеешь форму, за которую никогда и не при каких обстоятельствах, помимо смерти, разумеется, не можешь выйти – это циничное и подлое насилие!

Что взамен? Каков мир без насилия? Каков этот самый мир свободы и любви? Чёрт, да разве ж я знаю!? Разве я могу своим изнасилованным вдоль и поперёк сознанием представить его? Разве можно в мире насилия заполучить образ мира любви, если каждая частица здесь, каждый элемент, каждый атом – это сущее зло.

И всё же я попытаюсь. Идеальный мир – это мир без телесных воплощений. Это мир без воплощений вообще. Мир без начал и концов. Он всегда был, он есть, он всегда будет. В нём есть мы, данность, реальность. Мы в мире идеала – это нечто другое. Принципиально другое. Быть может, в идеальном мире мы не способны осознавать своё собственное «я», потому что осознание это, как думается мне, и есть первоисточник насилия для окружающих и себя. Но мы есть. Мы бестелесны, нематериальны, у нас отсутствуют стремления – к чему какие-то стремления при гармонии? – быть может, мы даже не существуем, в этом, насильственном понимании слова, мы просто где-то есть и мы самодостаточны, а потому счастливы. Абсолютно и бесповоротно.

Это несуществующий мир, скажите вы. Мир отсутствия, небытия, мрака. Но представьте, только на секунду представьте, что это и есть идеальный мир, напоённый любовью. Отделитесь на мгновение от собственного эгоизма и вообразите, что он то, что беспредельно настоящее и благодное. И самое главное – что мы, мы там счастливы.

– Эй, Ложка! – кричат, догоняя меня, четверо одноклассников. Они передразнивают мою фамилию – а фамилия моя Ложкин, я кажется ещё не называл её, глупенькая такая, несуразная, совершенно несоответствующая моему призванию фамилия, но мне приятнее интерпретировать её от слова «ложь», хотя оно меня и несколько пугает: я отношу эту самую ложь не к себе, а к окружающему, то есть получается, что я как бы вне всей этой лжи. – Стой, придурок! Бить будем!

Отъявленные придурки называют меня придурком! Не смешно ли это?

Насилие, понимаю я. Сейчас начнётся самое прямолинейное и недвусмысленное насилие.

Я к нему уже готов. Я просто так не отдаюсь ему на милость. Я предпочитаю сражаться.

– Убью!!! – ору я, размахивая вокруг головы мешком со сменной обувью. – Всех до одного укантаблю!

На пару секунд это останавливает жаждущих крови и моего унижения насильников. Но они не покидают поле боя. Моё противодействие лишь возбуждает их. Щёки взбодораженных пацанов пылают, глаза сужаются – сладостная волна отрицания единицы жизни пронизывает их с головы до ног. О, эта волна воистину сладостна, она и меня не раз пыталась нахрапом взять в плен. В отличие от них, я не подчиняюсь ей.

– Чё ты Серому сказал на перемене, когда в столовую шли?! – кричит мне один из них, звать его Павликом, он наиболее подвержен влиянию сиюминутных, блуждающих волн. – Как ты его назвал, вспомни-ка! Ты за базар отвечаешь, урод?!

Что я мог сказать этому недоразвитому Серому, что? Назвать его дураком – разве только это. Не помню – ни сейчас, ни тогда. Да разве важно это? Насилие всегда найдёт повод.

– Ничего не говорил! – кричу я в ответ. – Пусть уши водой моет, а не компотом.

Пацанва бросается в атаку. Одному я успеваю заехать по голове обувью, но трое других валят меня на землю. Я подмят под их телами, меня лупят по бокам, я пытаюсь перевернуться на живот и отползти в сторону.

В какой-то момент у меня получается это. Я обретаю вдруг нежданную свободу, мне удаётся подняться на ноги. В мгновение ока я понимаю, что может остановить их. Неадекватность. Только жёсткая неадекватность заставит исчезнуть их за горизонтом.

Я задираю пальто, нащупываю ширинку и в несколько лихорадочных движений вынимаю пипиську наружу. На моё счастье мочевого пузыря переполнен и только ждёт сигнала к действию. Короткое усилие – и искрящаяся брызгами струя устремляется в сторону нападающих.

С брезгливыми криками они отступают. Кое-что всё же попадает на них. Они торопливо зачерпывают варежками снег и растирают на одежде предполагаемые места соприкосновения с моей благодарной мочой.

– Уро-о-о-о-од!!! – злобно, но обречённо и горестно выдают они нестройным хором.

В новую атаку бросаться не торопятся. Я могу зарядить ещё одну очередь. Повторить же за мной мой тактический приём стесняются – место людное, люди то и дело мельтешат мимо, и хотя не вмешиваются, но смотрят на нас крайне беспокойно. Да и если бы решились, что мне их моча? Это им, слабым, потерянными недоумкам стрёмно прослыть «сифой», а мне без разницы. Я вне их системы ценности и одобрений, я не из этого мира, я недоразумение.

– Встретимся завтра в школе! – подбирая со снега раскиданные портфели, гордо и нетопливо ретируются они с места битвы.

Я победил. Я снова победил. Я всегда буду побеждать. Всех вас одолею, до единого. Я сильнее.

Насилие нельзя терпеть ни секунды. Ни единого мгновения. Терпение – не добродетель, терпение – инструмент порабощения. Ты думаешь, что терпишь во имя чего-то высшего, благородного и светлого, какого-то будущего, изменений в лучшую сторону, ты терпишь потому, что тебе навязали эту линию поведения – якобы она ведёт к трезвости ума и материальной обеспеченности, но лелея себя будущего, ты предаёшь себя настоящего. Тебе безразличен ты настоящий? Так почему же ты думаешь, что тебе будет интересен и мил ты будущий?

Насилие нельзя терпеть. От него надо отбиваться, ускользать, с ним надо грызться и царапаться, чтобы ни на йоту эта действительность не засомневалась в том, что сможет переманить тебя на свою сторону, сделать собственным инструментом, растворить тебя в себе. Превратить в тихое, безликое ничтожество.

– Ты взрослый уже, Вова! – широко раскрытыми глазами, нервно, истерично смотрит на меня мать. Она всегда пытается обнаружить во мне какой-то ответ, какое-то объяснение незапланированного сбоя. – Ты уже достаточно взрослый, чтобы купить молоко и хлеб. Тем более, если тебя просили об этом. Неужели это так сложно – взять приготовленные заранее сумку и деньги, сходить в магазин и принести продукты?

– Да что ты с ним размусливаешь?! – взрывается нетерпеливый отец, который в глаза мои не всматривается, потому что ни в какие разумные объяснения произошедшего со мной не верит, потому что уже полностью отчаялся и махнул на меня рукой. – Быстро схватил сумку, марш на улицу и без продуктов не возвращайся!

Насилие, ощущаю я во рту металлический привкус этого слова. Мне его никогда и не с кем не спутать.

– Подожди, – осаждают отца мать. – Может быть, он просто забыл, как это делается. Или забыл, где находится магазин. Вова, помнишь, ты же ходил в магазин? Покупал там продукты. Почему не хочешь сейчас?

Да, я имел неосторожность сходить несколько раз в магазин. Я знал, что это не проблема для меня, что я могу сделать это с лёгкостью – вот и поддался соблазну самоутверждения.

– Да оставь ты его! – машет рукой отец, на сто восемьдесят градусов меняя свою позицию. Это характерно для него. – Сам схожу. Чего ты от... (он делает едва заметную паузу, я понимаю, что в этом месте должно стоять слово «придурок») него ожидаешь? Всё, нечего ждать.

Эта фраза пугает мать. Она не хочет и не может просто так сдаваться. Она всё ещё не теряет надежду пробудить во мне то, что в этом мире считается нормальностью.

– Вова, сынок! – прижимает она меня к груди. – Ты прости меня, если я чего не то делала. Я плохая мать, я знаю. Ты скажи, что с нами не так. Скажи, а? Я ведь счастья тебе желаю, сына. Я ведь хочу, чтобы ты нормальную жизнь прожил. Хорошо мы молодые ещё, накормим, спать уложим. А как ты жить будешь, когда нас не станет?

Испытание жалостью – самое изощрённое в череде жестокостей. От него меня переворачивает.

– Он такой хоба, – начинаю я бормотать, – такой прямо в челюсть ему быдыщ! А тот, блин, с пистолетом ходит и песню поёт. Крадутся, крадутся, а когда выходят наружу – везде

ползают, ползают, те самые ползают, которые прятались сначала. Ха-ха-ха-ха, – закидывая голову, отчаянно смеюсь я, – и шишки на верёвочках, кролики, рыбы, огонь горит всюду. Я не могу, ржачно так, они на двух остаются, а против них двенадцать из всех дыр...

Мамины руки ослабевают, я без труда выскальзываю из её объятий, лишь секунду назад бывших крепкими. Она отводит лицо в сторону, а потом, резко поднявшись, торопливо прячется в ванной. С ней очередной приступ отчаяния, к которому обязательно примешивается пуд горькой и гнетущей вины.

Я победил! Вам не провести меня на мякине, недоразвитые!

Ночь. Ужасные минуты перед погружением в сон. Самое страшное время суток. Время, когда остаёшься наедине с собой, когда не за что зацепиться и нечем отвлечься. Время, когда вынужден задавать себе вопросы, на которые не находишь ответов.

Мысли выползают, словно тараканы из отверстий в гнилых досках пола, их множество, их целая армия, они ползут по щекам, по подбородку, по шее, перебираются на грудь и живот, заполняют ноги и каждое мгновение кусают тебя, кусают, кусают.

Насилие, поднимается во мне паника. Снова насилие. Жестокое насилие, безысходное.

– Ты обречён, – хором гудят тараканы, копошась на моём теле. – На что ты рассчитываешь, ничтожество? Ты хочешь опровергнуть данность? Опрокинуть объективную реальность? Отринуть установление природы?

Жутко. Чернота безысходности расползается в сознании, от неё хочется блевать.

– Думаешь, ты первый, кто недоволен тем благостным миром, в который удостоен чести быть помещённым? Чести – вдумайся в это слово! Их было много, но все, абсолютно все подчинились величественному и мудрому течению жизни. Подчинишься и ты. Ты самый настёрный из всех миллионов сперматозоидов, которые стремились к материальному воплощению в этой действительности. Самый сильный. Ты больше других желал появиться на свет в человеческом облике. Не забывай об этом. Всё произошло по твоей воле, только по твоей. Если бы ты не хотел, ничего этого бы не было. Но ты хотел, ты жаждал. Так что принимай этот мир с радостью и восторгом, неблагодарная свинья.

Никуда не скрыться от ощущения собственного «я». Порой, в такие мучительные часы, это ощущение – самое ужасное, что приходится испытать. За что мне этот гнёт? Кто наделил меня этой мерзкой способностью чувствовать и размышлять? Освободите меня от них! Освободите!

– Гордыня, всё от неё. Ты просто слишком любишь себя, слишком жалеешь. Думаешь, что ты нечто уникальное. Что равен самому мирозданию, что можешь спорить с ним и чему-то его учить. Ты не прав! Вас таких – миллиарды! Вы все думаете о том же в беспокойные часы ожидания сна. Вы все недовольны собой и окружающей вас реальностью, вы все считаете себя центром Вселенной. Но все вы до одного – смешны и ничтожны. Все до одного – пыль. Вас небрежным жестом сдуют с ладоней причинности и развеют в океанах пустоты. Вы – ничто.

Этот вид насилия наиболее изощрён и жесток. Его одолеть мне не удастся. Проигравший, истерзанный, я засыпаю наконец под утро, чтобы на следующий день вновь продолжить бессмысленное и бесполезное сопротивление.

Бунт атомов

В одну из таких бессонных ночей я уничтожил Чернобыльскую атомную электростанцию. Да, это я – тот самый человек, кто сотворил этот роковой взрыв. Не было никакого сбоя техники, не было никаких человеческих ошибок, был лишь злой умысел. Мой.

С первого же мгновения осознания своего противостояния со всем, что вокруг, своего неприятия всего этого, своего желания отринуть окружающую меня явь, я понял, что озарение это опустилось на меня не просто так. Я понял, что я избранный. Я тот, кому предстоит изменить ход течения истории, внести новые смыслы и понятия в ткань материализации бытия. И в самом деле, с чего бы это на обыкновенного человека нисходит вдруг такое? На вас снизошло нечто подобное? То-то. Так что даже не думайте спорить со мной, потому что вы изначально в проигрыше. Вы просто не понимаете всех глубин, не способны охватить все грани.

С первого же мгновения я понял, что кроме гнетущей рефлексии мне будет дана и Сила. Что я понимаю под этой самой Силой? Ничего, кроме того, что каждый из нас вкладывает в смысл этого слова. Сила – это способность совершать действия, недоступные большинству. Сила – это подтверждение правильного выбора, это доказательство истин, это осуществление стремлений.

Признаться, мне казалось, что она должна явиться ко мне сразу, в самое первое мгновение. В тот самый миг, когда куча говна улеглась на ковер нашей квартиры. Я должен был сразу же, чудилось мне, почувствовать в груди приход могущества. Я должен был ощутить биение в кулаках, я должен был запустить в небо пару молний и, пробив потолок и все квартиры, что выше, они должны были унестись в далёкий космос, как подтверждение того, что Избранный явился.

Ничего этого не произошло. Ничего подобного. Теперь я понимаю, как вместе с удовлетворением и облегчением от осознания своего выбора, я почувствовал в ту секунду и некую пустоту. Некий раздрай, некое ощущение вины. Все первые годы оно ужасно беспокоило меня: как же так, недоумевал я, ведь я сделал шаг, я решился на противостояние, я стоек и твёрд в своей решимости, я безусловно прав, как не был прав никогда и никто на этой Земле – но внутри колыхается слабость, тянет сомнениями и даже желанием раскаяния? Почему? Почему мой выбор не обеспечен достаточным могуществом – для того, чтобы отразить все нападения и угрозы?

Наивный, я не понимал, что просто так могущество прийти не может. Что нужен период, испытательный срок на то, чтобы оно окончательно проявилось во мне. Вдруг я не тот? Вдруг я действительно всего лишь жалкий умалишённый, который грезит своим обезображенным сознанием наяву и рождает химер. Вдруг я не смогу, вдруг я всё загублю? Вдруг выбор мой не самостоятелен, а навязан мне извне, какими-либо таинственными и зловредными стихиями?

Понадобилось несколько лет, чтобы я получил подтверждения о присутствии во мне Силы.

В ту апрельскую ночь тысяча девятьсот восемьдесят шестого года я по обыкновению не спал, погружённый в душевные терзания. Я переживал очередной приступ отчаяния. Мне казалось, что всё напрасно, что вокруг и внутри лишь тьма, что я малолетний безумец, если способен в тринадцать лет рассуждать на такие темы и испытывать подобные эмоции, что я прокажённый, что я уродец, что не лучше ли мне закончить все мучения разом, оставить этот мир в одиночестве, без сопротивления, без противостояния, просто уступить ему как более сильному – подобные мысли, мысли о добровольном уходе, станут для меня сущим наважде-

нием и ещё неоднократно будут являться, чтобы терзать меня по тому или иному поводу, несмотря на ощущение Силы и Правды, на протяжении десятилетий.

Мы спали с сестрой в одной комнате. Она тихо и благодушно сопела на своей кровати, я не могу вспомнить, чтобы хоть раз она имела какие-либо проблемы со сном и глубокими душевными переживаниями. В соседней комнате не так тихо и не так благодушно, но в целом глубоко и насыщенно переживали посредством увлекательно-глупых сновидений тягучую ночь мои родители. Иногда их глубокое дыхание превращалось в громкий и торжествующий храп, который они умудрялись издавать по очереди и который нисколько их не беспокоил, а наоборот – погружал в ещё более глубокую фазу сна. Они были просты и безмятежны, мои родственники, они не подозревали, что творится со мной.

А я готов был бросаться на стены. Я переживал это состояние неоднократно, и обыкновенно мне хватало лишь нескольких переворотов с бока на бок, чтобы развеять и даже отогнать душевный гнёт, но в эту ночь было что-то не так. Я переживал полное и абсолютное смятение. Холодная режущая тьма раз за разом рассекала лихим и невыносимо болезненным ударом моё сознание, принося ему какие-то необъяснимые и отчаянно пугающие образы. Я не мог их идентифицировать, я не мог проникнуть за грань их понимания. Это были не образы людей, не образы предметов и вовсе не материальные образы. Впрочем, абсолютно нематериальными я назвать их тоже не могу. Это было нечто, не поддающееся описанию, нечто необъяснимое и могучее, что вливалось в меня широким потоком и заставляло трепетать.

Не в силах сдерживаться, я поднялся на ноги и стал отмерять по небольшой комнатке торопливые шаги. Я вдруг понял, что если не начну сопротивляться этому наваждению, то через несколько мгновений оно меня расплющит. Превратит в отсутствие.

И я попытался защититься. Я сжался в комок – и снаружи, и внутри – я завопил в эту пустоту. Вот уж не помню, был ли это молчаливый вопль, или же он разнёсся по всей квартире, исторгнутый моей гортанью, но я вкладывал в него всю злобу. Всю свою ненависть к тому, что против меня, всё своё негодование, всю свою бушующую боль. Не помню, сколько это длилось, потому что осознание реальности покинуло меня.

Очнулся я под самое утро, лёжа на полу, скрюченный и холодный. Голова была ясной, наваждение отступило. Я перебрался к себе на кровать, укрылся одеялом и вскоре забылся крепким, безмятежным сном.

На следующий день, пытаясь вспомнить пережитое и как-то объяснить его, я лишь в бессилии терялся в догадках, приводя немыслимые, фантастические доводы к пониманию произошедшего со мной. Впрочем, шок от случившегося быстро развеялся, чрезмерно глубоких и дотошных вопросов я себе не задавал – всё-таки это наваждение вполне укладывалось в общую картину моего безрадостного существования. К вечеру я уже, пожалуй, и не вспоминал о нём.

Но новости, прозвучавшие через пару дней с экрана телевизора, заставили меня взглянуть на произошедшее по другому. Да, через пару. Может быть, через три. Насколько мне помнится, советское руководство не сообщало в первые дни о произошедшей трагедии.

А сообщив, сделало это мягко и учтиво, словно возлюбленная, которая поведала хахалю о внезапном прекращении месячных. Ситуация под контролем, просто в воздухе витает немного радиации. Но если соблюдать элементарные правила безопасности, не открывать форточки и закрывать рот носовым платком, то двести лет ещё проживёте, ни разу не кашлянув.

Большинство даже пропустило первые сообщения о взрыве мимо ушей, словно там действительно ничего особенного не произошло. Лишь уличные разговоры и стремительно разрастающаяся по городам и весям Советского Союза паника заставили изменить отношение к произошедшему, начать переживать случившееся всей праведной советской грудью, строить предположения и гипотезы, а также размышлять о последствиях.

Я же, напротив, в самый первый миг, едва до ушей моих долетели обрывистые телевизионные фразы о каком-то взрыве, тотчас понял, что трагедия эта имеет ко мне самое непосредственное отношение. С ужасом и перехлёстывающим через край душевных эмоциональных вместилищ торжеством я распознавал в себе виновника случившегося. Испугался ли я? Пожалуй, да. Но не последствий, которыми грозило для меня раскрытие тайны авторства этого взрыва, а той немислимой ответственности за Силу, которая вдруг в одночасье опустилась на меня. В те дни для меня стало окончательно и бесповоротно ясно, что я другой, что я вне и над, что я существо особой организации и особых возложенных на меня миссий.

Испугался – и испытал облегчение. Потому что-то где-то в самых отдалённых уголках собственного «я» жаждал этого прорыва, стремился к нему и был односторонне на него нацелен. Я вроде бы даже вздохнул этак облегчённо-снисходительно: мол, ставки сделаны, задачи ясны, методы понятны, осталось лишь шаг за шагом двигаться к поставленной цели.

– Ты представляешь! – ворвался я в соседнюю комнату, где сестра тискалась с двумя своими дружками-переростками, и объятия всей троицы были весьма горячи. – Всё же я тот самый!

Сестра, которая была старше меня на четыре года – в те времена каждая вторая семья имела двух детей, разница в возрасте между которыми составляла четыре-пять лет, так негласно требовал советский быт – переживала в то время пик подростковой сексуальности и одного парня для озорных и экспрессивных утех ей не хватало. Оба были старше её, учились в профессионально-технических училищах, престиж которых уже тогда был никудышный – аббревиатуру ПТУ расшифровывали как «Помоги тупому устроиться» – носили «бананы», эти несуразные расширенные штаны с несуразными расцветками, неожиданно вошедшие в моду в середине восьмидесятых, обладали растительностью на лице, в виде реденьких усиков, которые из моды уже начинали выходить, в общем чуваками были современными и крутыми. Сестра просто не могла не раскрыть им свои созревающие прелести.

Наташа, смущённо отстранившись от парней, бугорки которых, выпячивающиеся из-под ткани брюк аккуратно в междупояс, не могли не притянуть мой блуждающий взор, немного удивилась этой паре достаточно связных фраз, которые я соизволил произнести, но совершенно не уловив их смысл, напряжённо-предупредительно нахмурилась.

– Ты ещё не выпил таблетки? – строго спросила она.

Несмотря на то, что никаких громких диагнозов в то время мне ещё не было поставлено, меня то и дело пытались пичкать какими-то успокоительными таблетками. Особенно настаивала на этом мама: таблетки давались без всякого рецепта, горстями – я не сопротивлялся, потому что знал, что никакая химия не окажет на меня ни малейшего воздействия. Она и не оказывала.

Халатик сестры был распахнут, я видел за его поплёкшей тканью обнажённые и достаточно тощие взгорья груди. Наташа не запахивалась, видимо не считая меня человеком, которого следует смущаться – то ли потому, что я был брат, то ли потому, что был недоразвитым.

– Да причём здесь таблетки?! – приплясывал я от возбуждения. – Я взорвал Чернобыльскую станцию! Я – разрушитель! Я способен, у меня есть дар, ты понимаешь? Может быть, прямо сейчас, прямо здесь я смогу разрушить весь мир!

– Володя, – привстала с кровати сестра, – пойдём на кухню, тебе пора принимать лекарства.

Она была почти добра, моя ограниченная похотливая сеструха, она почти жалела меня.

– Да, парняга, – подтвердил её дружок, тот, что сидел справа и «бананы» которого имели тёмно-синюю окраску, а усы обрамляла зона невылупившихся прыщей. – Пора закинуться колёсами.

Он подмигнул мне.

– А то ещё разрушишь тут нам весь кайф, – добавил второй Наташин ухажёр, тот, что находился слева, обладал бордовыми «бананами» (я не вру, хотя вы правы: носить бордовые штаны – это ещё более весомый идиотизм, чем мечтать о разрушении мира), а прыщей над и под усами почему-то почти не имел.

– Заткнитесь, уроды! – рявкнул я вдруг на них. – Я повелитель мира, а вы говно на палочке. Я превращу вас в пыль, если захочу.

Обычно я не говорил людям такие вещи. Я знал, что они обидчивы и, как правило, мускулистее меня. Но в тот день мне не был страшен сам чёрт, сам Гитлер, сам Замутитель Большого Взрыва – я был грозен и могуч, о, я был действительно грозен!

Двумя короткими и вроде бы даже несильными тычками меня повали на пол. Больше не били. Наташа с укоризной смотрела на меня сверху вниз. Она была солидарна с разрывающимися от гормонов дружками – и кайф я людям обломал, и веду себя борзо. Она и сама порой применяла ко мне – в целях воспитания, разумеется – такие же методы.

Я махнул на них рукой – чёрт побери, кому я рассказываю о своём даре! – вскочил на ноги и выбежал на улицу. Счастье, огромное, пульсирующее счастье всё ещё бурлило во мне и жаждало быть высказанным.

– Дяденька! – подбежал я к первому встречному мужчине затрапезного вида, – вы знаете, что Чернобыльскую станцию разрушил я?

– Нехорошо, – покачал головой мужчина. – Нельзя так делать. Ведь ты пионер.

Да, как ни странно, я действительно был пионером. Придурков тоже туда принимали.

– Хотите, – продолжал я торжествовать, – я превращу вас в ничто?

– Да я и так ничто, – грустно ответил нетрезвый, как стало мне понятно, мужчина и печально зашагал вдаль, время от времени всматриваясь в заросли кустарника, видимо в поисках пустых бутылок.

– Тётяшка, а это я Чернобыль взорвал, – подскочил я к проходящей мимо женщине с двумя сумками. – Я и вас могу.

– Сейчас вот к родителям тебя отведу, – взглянула она на меня злобно. – Они покажут тебе и Чернополь, и Сталинград, и битву на Куликовом поле.

Да, именно так, «Чернополь», назвала она этот несчастливый украинский городок. Так, как звали его несколько недель, а может месяцев почти все советские граждане – определить на слух в этом хитром сочетании букв какую-то чёрную быль было действительно непросто. Вполне возможно, что Чернополем какое-то время звал его и я.

– Господи! – возмутился я. – Да ты ничего не понимаешь, тупая сука! Если я разрушил Чернобыль, значит, этот мир ничтожен и жалок. Значит, его можно свернуть, скомкать и сдуть с ладоней. Значит, и ты можешь разом пропасть от одного-единственного моего дуновения.

Я всё же решил разрушить мир. Вот прямо здесь, вот так сразу. Несколько секунд я надувал щёки, тужился, но лишь слабенько пукнул. Нет, я не впал в панику, я понимал, что для такого действия нужна огромная подготовка и сосредоточенность, что сейчас мне не хватает ни того, ни другого, но разочарование в непостоянстве своего величия всё же чрезвычайно огорчило меня. Я гнал страшные предположения о том, что взрыв Чернобыля был лишь сиюминутным просветлением. Я понимал всем своим существом, что это не так, что это не может быть так, но терпением, мудрым долгосрочным терпением в то время я ещё не обладал. Я расплакался, но сумел быстро взять себя в руки – могущественные существа не имеют права плакать, да к тому же на виду у всех.

Впоследствии мне отчаянно доказывали, что я набросился на эту тётку с кулаками, повалил её на землю и принялся молотить по лицу и тучному торсу. Ложь. Подлая ложь. Одна из уловок агентов действительности, которые только и рады, чтобы применить самые дешё-

вые, самые ничтожные и самые мерзкие трюки для того, чтобы устранить неблагонадёжные элементы. Такие, как я.

Ну для чего, для чего, я вас спрашиваю, мне понадобилось бить эту тётку, когда я мог просто превратить её в песчинку? Для чего?

Думаете, не мог? Уверены, что не мог? Ну, быть может, быть может, именно тогда в тот самый момент того самого дня я и не мог совершить это, потому что разрушить Чернобыльскую АЭС – это вам не говно на улице пинать, это требует колоссальной нагрузки нервной системы и колоссальных физических затрат, после которых необходимо восстанавливаться не один месяц. Да, не мог превратить я её в песчинку, но ведь я осторожен, я знаю, на что способен этот мир, я знаю, на что способны люди, я никогда не испытывал иллюзий по отношению к ним, ни на секунду. Я бы просто процедил сквозь зубы что-нибудь злобное и отошёл в сторону искать новую жертву для моих счастливых исповеданий, но бить... Нет, я отказываюсь признавать это. Это происки агентов, это они всё подстроили.

Сам я, к сожалению, не помню, что произошло, но разве упомнишь все эпизоды своей грёбаной жизни? Вы наверняка не помните даже половину. А с меня-то какой спрос? В общем, ничего подобного не было.

Но эта провокация силам зла явно удалась. Признаю. Потому что после неё моя жизнь изменилась. В худшую ли сторону, в лучшую – не мне судить. Да и не вам. Она изменилась, вот и всё.

Казённый дом

Спустя какое-то время я обнаружил себя в отделении милиции.

Скажу вам честно, я всегда уважал отечественную милицию. Тем более советского периода. Что бы там ни говорили о министре Щёлокове, но он действительно создал по-настоящему действенную, эффективную и, что немаловажно, интеллигентную организацию. Которая, правда, в те годы уже начинала гнить. Тем не менее, любому, кто оспорит моё утверждение, что советский милиционер был настоящим интеллигентом с высокоморальным стержнем внутри, я плюну в правый глаз. Вы же не хотите, чтобы я плюнул вам в правый глаз? Вот и не спорьте.

Хорошо, хорошо. Отступаю на шаг. Всего лишь на шаг и ни сантиметром больше. Не так сильно уважал я милицию, не так. Вы правы в том, что такое необыкновенное существо, как я, не может всерьёз уважать ничего на этой грешной Земле, включая самого себя. Я уважал отечественную милицию лишь временами, периодически. И не слишком сильно. Тем не менее, сейчас, как вы понимаете, именно такой период.

Простите мне мои сбивчивые воспоминания об этих днях, когда жизнь моя вливалась в новое русло, но я действительно помню их очень плохо. С точки зрения традиционной психологии, это явление можно объяснить разнообразными оправдательно-психопатологическими терминами, что-то вроде «помутнения», «фрустрации» или даже «потери чувства реальности». Всё почти так, не собираюсь перечить традиционной и даже нетрадиционной психологиям, хотя и не люблю их искренне.

Итак, что же сохранилось на хрупких и ржавых стенках моей памяти?

Помню: какой-то мент допрашивает меня в кабинете (вполне возможно, что словом «допрос» я перегибаю палку, наверно по милицейской терминологии это называлось всего-навсего беседой), почему-то разговор наш очень мне не нравится, дико не нравится и сам мент, я вскакиваю со стула, что-то кричу – то ли на него, то ли просто так – подскакиваю к окну и пытаюсь выбраться через форточку. Почему форточка показалась мне милее и привлекательнее двери мне сейчас неизвестно, но объяснение этому я вижу вполне логичное: по всей видимости, мне почудилось, что побеги я через дверь, то просто не успел бы выбраться из отделения наружу и был бы пристрелен.

Помню – а может просто додумываю? – как мент и ещё кто-то, скорее всего тоже мент, прибежавший на шум из другого кабинета, стаскивают меня с подоконника на пол, несильно бьют, связывают чем-то руки и затыкают тряпкой рот. Действия их вполне понятны и объяснимы: никому не нравится слушать чужой крик. Людям нравится только крик собственный.

Наверняка я грозился уничтожить этих милиционеров самым мучительным из известных и неизвестных способов, на худой конец – превратить их во что-то мерзкое и ничтожное, может быть, в половую тряпку. Наверняка я истово объяснял им, делом чьих рук является на самом деле уничтожение Чернобыльской станции, наверняка я пытался увидеть в их глазах непосредственный отклик, понимание и уважение – судя по всему эти эмоции отсутствовали в их высокоморальных душах.

Потом со мной беседовали ещё какие-то люди. Их было то ли двое, то ли трое. Они выглядели солидно и представительно, я убеждён что это были двойные агенты. Агенты советского КГБ и агенты действительности. Впрочем, вполне возможно, что о своём втором агентстве они не подозревали. Зато об этом прекрасно знал я.

Поначалу они проявили ко мне некоторую заинтересованность, внимательно выслушали мои объяснения о причинах взрыва на станции, но почти сразу же интерес ко мне угас. Я

(пожалуй, к своему счастью) не смог убедить их в том, что атомная электростанция может быть разрушена ребёнком, наставшим на неё за тысячу километров энергетические волны. Видимо, лишь по долгу службы они были обязаны проверять всю информацию, касающуюся подрыва государственных основ и всяких прочих электростанций, но верить в неё они обязаны не были. Как агенты КГБ они махнули на меня рукой, но как агенты реальности просто отмахнуться от меня, отпустить домой и забыть они, конечно же, не могли. Поэтому следующими человеческими особями, кто проявил обо мне чуткую и трогательную заботу, оказались люди в белых халатах.

Встречи с ними – и это я могу утверждать почти наверняка, потому что несмотря на всякие там фрустрации, я всё же мог осознать перемещения в другие здания и кабинеты – происходили уже не в милиции, а в каком-то медицинском учреждении, куда я был помещён в палату один-одинёшенек, чему был, в общем-то, рад. Я не любитель тесноты и вынужденного общения.

Встречи были продолжительными, ко мне приходили белохалатные мужчины, белохалатные женщины, неоднократно ко мне водили группы студентов – судя по всему, я безмерно радовал их всех. Они возвышались надо мной с умными, проницательными, чрезвычайно скорбными и жалостливыми лицами, качали головами, цокали языками и произносили, за редкими исключениями, лишь одну и ту же фразу: «Интересный случай. Очень интересный случай». Отчасти мне было приятно слышать эти слова: всё же это было какое-никакое признание моей исключительности.

Пару раз ко мне допускали родителей. С ними я мог встречаться только в присутствии врача. Помню, что мама, не переставая, горько плакала, а отец, пытаясь бодриться и выглядеть сильным, то и дело кивал мне, видимо желая поддержать и сказать тем самым, что всё нормально и у меня ещё есть шанс вернуться в общество полноценным человеческим существом. Я не хотел их видеть, они только раздражали меня.

Именно тогда мне был поставлен короткий и яркий диагноз – шизофрения, именно тогда в моей жизни появился добрый доктор Игнатъев, который, надо признать, дальше всех продвинулся в понимании моей сущности, но в виду того, что трактовал её с сугубо медицинских, психиатрических позиций дальше определённой отметки двинуться не смог.

Впрочем, доктор Игнатъев персонаж в моей истории далеко не главный и даже, пожалуй, не второстепенный, а какой-то там фоновый, так что постараюсь не уделять ему слишком много времени.

– Ну что, – улыбающийся, свежевыбритый, с запахом одеколона «Шипр» появился он в палате в один из утренних часов, – поедешь со мной, Вовка?

– Куда? – раздражённо отозвался я, потому что в то время уже отчётливо понимал, что товарищам врачам доверять нельзя.

– В хорошее место, – улыбнулся он ещё шире. – Туда, где тебя ждут друзья.

Слабенький аргумент. Неужели психиатру с первого взгляда не понятно, что в друзьях я совершенно не нуждаюсь?

Видимо он понял это, потому что тут же добавил с ещё одной, на этот раз какой-то странноватой и кривоватой улыбкой:

– Туда, где ты сможешь во всю мощь бороться с миром. И никого при этом не беспокоить.

Вторая фраза была сказана гораздо тише первой. Видимо, я не должен был обратить на неё особого внимания. Я и не обратил. Я и на первую фразу не обратил особого внимания – чего мне все эти фразы представителей враждебного мира? – но должен признать, что она меня несколько удивила и задела. По крайней мере, тем, что этот человек хоть и в общих чертах, но всё же представляет цель моего предназначения.

И я поехал.

Собственно говоря, выбора у меня не было.

Лишь с того дня, как я оказался в стенах психиатрической лечебницы для детей и подростков (которая официально называлась не так оскорбительно громко по отношению к подрастающему поколению, а вроде бы именовалась некой школой-интернатом для каких-то там особенных детей) лихорадочное мельтешение в моих мозгах, связанное с некорректным определением пространственно-временного континуума, в котором я имел честь пребывать, несколько улеглось, сознание со сбивчивости перешло в достаточно традиционный режим работы, восстановилась память и улеглись эмоции. Я снова стал способен фиксировать смену событий в последовательности, без провалов и всплесков. Улеглось – хотя до конца и не исчезло – бессильное возмущение перед коварной Силой, явившейся ко мне однажды и не желавшей пребывать во мне постоянно. Всё же я не терял надежды возродить её в себе.

Мне выдали бельё, полотенце, и даже поношенные тапочки. Два куска мыла и зубную пасту с щёткой мне заранее передали родители. Они же подготовили мне синюю школьную форму: как им сообщили, при интернате существовала полноценная школа, и я, о счастье, ничего не потеряю в изучении курса одобренной министерством образования школьной программы для детей моего возраста. Так что я не нуждался ни в чём. Попросту говоря, я был абсолютно счастливым человеком.

Высокий и очень худой санитар, глядя на которого так и просилось определение «дистрофик», проводил меня до палаты. Санитар был крайне погружён в себя, что-то бормотал на ходу, совершал энергичные движения руками, объясняя отсутствующему собеседнику, как глубоко он ошибается, и не обращал на меня никакого внимания. Я плёлся за ним и с интересом оглядывался по сторонам. Иногда, то в коридоре, то в какой-либо одиноко растворённой двери появлялось любопытное детское лицо. Я насчитал таких лиц штук шесть. Все они наводили на печальные размышления. Это были лица форменных дебилов. Нет, дебил это начальная стадия процесса отупения, этих особей, пожалуй, стоило назвать олигофренами или идиотами. Они были безнадежны: пустые взгляды, не содержащие ни мысли, ни дуновения эмоции.

Перспектива превратиться в такое же растение несколько напугала меня, поэтому за все три с половиной минуты дороги до своей палаты я принялся лихорадочно прокручивать в голове возможные варианты побега. Я уже раз двадцать убежал из этого заведения, пока мы добрались до конечного пункта: через окно, через крышу, сквозь лаз в земле, на воздушном шаре и с помощью ковра-самолёта. Именно так бегство из интерната стало для меня с самых первых минут пребывания в нём навязчивой идеей. И это несмотря на то, что здесь я провёл весёленькое в самом прямом смысле слова время.

Наконец мы приблизились к заветной двери. Санитар, вспомнив, наконец, что он кого-то сопровождает, нервно оглянулся, но заметив меня в трёх метрах позади, успокоился. Ещё мгновение – и он распахнул передо мной врата в неизведанное.

Неизведанное встречало меня в количестве трёх душ. Души – по виду пацаны моего возраста или чуть постарше – сидели каждый на своей кровати и занимались умственным трудом. Один читал книгу, другой собирал из детского конструктора некую абстрактную фигуру, а третий раскладывал на коленях карточный пасьянс. Все трое, заслышав шум у двери, отвлеклись от своих дел и метнули в мою сторону этикие пытливые, но в целом достаточно равнодушные взгляды. В мгновение ока я пробежался по их лицам и понял...

Чёрт возьми, я понял, что попал к своим! Таких высокоинтеллектуальных и одухотворённых лиц я не видел никогда. Это были лица, на которых пылало Богоборчество, на которых застыл неистовый Протест, которые искрились Поиском и необходимостью Преображения окружающих сгустков действительности. Тотчас же мне стало ясно, что они преодолели

похожую дорогу в это заведение, что они узники мятущейся совести, что они преобразователи мира, а точнее его ниспровергатели и извечные враги.

Видимо, нечто подобное увидели во мне и они, потому что их лица, бывшие в первое мгновение весьма напряжёнными, вдруг просветлели, раскрылись и даже озарились лёгкими улыбками.

– Принимайте новенького, – бросил им санитар. – Если будут бить, – взглянул он выразительно на меня, – зови. Но лучше отбиваться самому.

Его предупреждения показались мне верхом глупости. Я знал, что никто меня здесь бить не будет.

Дверь захлопнулась за моей спиной, а я продолжал стоять, не двигаясь с места. Я видел в углу свободную кровать, которая явно предназначалась мне, но почему-то не решался сделать к ней положенные шаги.

Один из троицы, тот, который раскладывал пасьянс – почему-то тогда меня несколько не удивило, что в режимном заведении ребёнку позволяют играть в карты – приподнялся с кровати, подошёл ко мне вплотную, окинул с головы до ног внимательным взглядом и спросил:

– Ты за добро или за зло?

– За зло, – не задумываясь, ответил я. – Более того, судя по всему, я и есть то самое зло, которое в этой, надо сказать, нелепой и весьма надуманной дихотомии является таким омерзительным элементом. Иначе за что меня отгородили от мира все эти добрые люди?

Парень многозначительно посмотрел на своих сокамерников, а потом уверенно и твёрдо протянул мне руку и представился:

– Гриша. Основатель и глава Церкви Рыгающего Иисуса.

Мог ли я знать тогда, что буквально через минуту стану архиепископом этой Церкви?

– Вова, – ответил я на рукопожатие. – Человек, разрушивший Чернобыльскую электростанцию.

– Добро пожаловать, – радушно улыбнулся Гриша. – Я так и подумал, что ты имеешь отношение к этому событию... Позволь поинтересоваться, – продолжал он, пытливо заглядывая в мои глаза. – Наверняка ты желаешь подробнее узнать, почему моя религиозная организация имеет такое странное название?

– Вообще-то нет, – ответил я. – Вроде бы всё понятно. Иисус в раю. Он жрёт и пьёт от пуза, он совокупляется с ангельскими девами, а потому лишь сытно рыгает. Видимо этого, истинного Иисуса ты и хочешь донести до человечества.

– Вот это да! – воскликнул удивлённый Григорий. – Ты просто зришь в корень. Назначаю тебя архиепископом моей Церкви. Не вздумай отказываться.

По правде говоря, я всегда, с самого первого вздоха, совершённого в этой жизни, был настроен антиклерикально. Но уяснив в мгновение ока, что Гришина Церковь – установление авангардное и радикальное, что оно преследует цели разрушения загнивших религиозных основ человеческого мировоззрения, а, следовательно, низвержения и самого порядка вещей, породившего эти основы, а заодно осознав, что столь высокая должность может иметь для меня определённые преимущества невесть в каких ситуациях и раскладах, тотчас же согласился принять сан. Хлопнув меня по плечу, Григорий совершил мгновенный обряд посвящения, а затем познакомил меня с остальными обитателями палаты.

Одного из них, того, кто возился с конструктором, звали Славой.

– Это наш Колумб Запредельности, – дал ему краткую, но ёмкую характеристику Гриша. – Каждую ночь он уносится в один из антимиров и ведёт научные беседы с его обитателями.

– Я предпочитаю называться просто Славой, – с улыбкой пожал мою протянутую руку парень. – К чему все эти громкие титулы? Они актуальны лишь здесь, в этом ущербном и потерянном мире.

– Ты считаешь его ущербным? – переспросил с удовольствием я. – Так приятно это слышать. Так приятно знать, что кто-то думает так же, как я.

– Если б я так не думал, меня бы не упрятали сюда, – грустно объяснил Слава.

– Славик в отличие от нас, мясокостных, – объяснил Гриша некоторые интересные особенности атомного строения Колумба, – состоит из чистой энергии. Ему вовсе не требуется носить волшебный головной убор, чтобы становиться невидимым.

Фраза про головной убор была, судя по всему, шуткой, потому что Глава Церкви и другой папан, забавлявшийся с книжкой – я наконец-то рассмотрел, что это была книга рассказов Виталия Бианки – коротко хохотнули. Слава поморщился.

– Помолчал бы уж, богопротивный поп, – бросил он усталый и неколкий упрёк Григорию. – Володя человек здесь новый, ему надо привыкнуть к нашим причудам.

– Вовка разрушил Чернобыльскую электростанцию, – объяснил ему Гриша. – Уж надо думать, он кое-что понимает в сакральных знаниях и может отличить клоуна от балерины...

Посчитав знакомство с Человеком-невидимкой законченным, я сделал шаг в сторону, но Слава приподнялся вдруг с кровати и с пыливо-требовательным выражением схватил меня за руку.

– Ты ощущаешь то же самое, что и я? – пронизательно, потерянно и почти испуганно заглянул он в мои глаза. – Ты видишь то же самое?

– Нет, не думаю, – поспешил ответить я. Ответ получился скоростижный, словно отговорка, но неправдой он не был. Я действительно не думал, что могу видеть и чувствовать то же, что и он. – Я прикован к мясу, и это тяготит меня. Я всего лишь учусь находить лазейки в его структуре.

Мой ответ понравился Колумбу. Он успокоился, просветлел и несколько извиняющимся тоном произнёс:

– Просто очень тяжело, почти невозможно будет однажды понять, что я не уникален.

– Ты уникален, – твёрдо заверил я его.

Третьего папана звали Игорем. Он оказался Величайшим Писателем Всех Времён и Народов. Как объяснили мне мои новые друзья, он являлся автором нескольких блистательных романов, сонма умопомрачительных повестей и легиона сногшибательных рассказов.

– Дашь почитать? – уважительно попросил я. – Интересно будет ознакомиться с твоим стилем и образом мыслей.

– С его стилем и образом мыслей ознакомиться вряд ли возможно, – объяснил мне Гриша. – Игорь никогда не записывает свои произведения на бумаге.

– Но почему же тогда он называет себя писателем? – удивился я.

– Писатели бывают нескольких видов, – на этот раз Игорь соизволил ответить мне сам. – Обыкновенные, талантливые и гениальные. Обыкновенные пишут произведения, стремятся их напечатать, и если это удаётся, считают себя состоявшимися людьми, гордятся фактом публикации и думают, что приобретают посредством этого вес и влияние в обществе. Талантливые писатели пишут произведения, но внезапно осознав всю никчемность и тщету, с которой связаны попытки представить их бездарной и пресыщенной публике, безжалостно уничтожают свои работы. А гениальные писатели потому и являются гениальными, что читатели им не нужны вовсе, и они совсем не записывают произведения на бумаге. Вот как я. Они пишут их в собственных головах, душах, кишках и печени, они сами становятся произведениями, но, не проронив ни предложения, ни слова, ни даже звука, уносят их с собой к потусторонним

берегам. Требуется огромное, попросту нечеловеческое мужество, чтобы решиться на такую форму творческого процесса. Я решился.

– Ну, всё-таки не совсем, – уточнил Гриша. – Игорёк всё-таки не вполне выполняет все пункты кодекса гениального писателя, впадает порой в тревожные состояния, именуемые в народе и даже в медицине припадками, и начинает проборматывать свои литературные труды. Они настолько необычны, что производят на всех слушателей тяжёлое и даже шокирующее впечатление. Поэтому его и поместили сюда.

– А Бианки – это так, – вдруг немного смутившись, застенчиво махнул рукой Игорь. – Единственная книга, которую я читаю. Почему-то она меня не раздражает. Загадка.

Наконец-то я расположился на отведённой мне кровати, несколько скрипучей, но в целом годной к исполнению своих обязанностей, попробовал отмерить вокруг неё торопливыми шагами беспокойные, кишевшие рассуждениями и фантазиями метры, умудрился даже почистить зубы у прикрепленного к стене напротив умывальника, а затем быстро и тихо погрузился в сон, не дождавшись вечернего обхода. Сон оказался удивительно глубоким и почти бестревожным.

Трусы и Абсолют

Интернат для психически неадекватных людей на самом деле мало чем отличался от прочих интернатов и даже от обыкновенных школ. Основным занятием, которым предполагалось заниматься его обитателям, была, разумеется, учёба. Как и в обыкновенной средней общеобразовательной школе на неё отводилось шесть дней в неделю. Программа тоже давалась достаточно традиционная, хотя и с определённой спецификой для соответствующего контингента. Впрочем, по той причине, что учителя в интернате не задерживались и ангажировать на учебную деятельность приходилось кого ни попадя, могу с почти стопроцентной уверенностью заявить, что учебная программа нашего интерната не отличалась от школьной ни на йоту. У тех случайных бедолаг, кого завлекали сюда повышенной зарплатой (на самую ничтожную и смешотворную малость по сравнению со среднестатистической), просто-напросто не было ни сил, ни желания, ни времени как бы то ни было переделывать программу под местные условия.

Более того, учителя почему-то искренне боялись обитателей интерната, боялись нас, всех этих милых ребят, отличавшихся от обыкновенных, нормальных и тем самых устраивающих гадкую действительность посредственностей школьного возраста лишь тем, что пытались отыскать пытливым умом какие-то выходы из окружающего мрака. Хорошо, я преувеличиваю: далеко не всех были милыми и даже отнюдь не пытливыми, основную массу составляли как раз таки форменные дебилы, не способные не только к абстрактной мыслительной деятельности, но даже к поверхностному знакомству с таблицей умножения. Но, чёрт меня подери, эти дебилы обоих полов (да, да, у нас водились и мальчики, и девочки) были совершенно бестревожными и безобидными людьми, они тихо посапывали на уроках, лёжа на партах, стульях и на полу, вяло и безобидно перекидывались бумажными шариками и совершенно не мешали учителям талдычить свои никому не нужные уроки. За всё время пребывания в интернате я не помню ни одного буйного подростка, который пытался бы проявить по отношению к кому бы то ни было хоть малейшее дуновение насилия. Обитатели подросткового дурдома были тихи, аморфны и абсолютно безвредны. Все эти ужасы о детских домах, интернатах и прочих местах пребывания слабоумных, демонстрируемые нам неврастениками-кинематографистами – подлая ложь. Им платят, чтобы они внушали рядовым обывателям слабое подобие счастья: смотрите, вот эти сорвались в пропасть, они там, а ты ещё здесь, значит, радуйся, радуйся, сукин сын!

Единственным человеком, способным на насилие к окружающим, как я понял позднее, был я сам. Да, я был единственным, в ком бурлило достаточно злости, чтобы ударить ближнего по лицу рукой или даже ногой, причём без особого повода, в общем-то, просто так. К своей радости, гордости и прочим положительным проблескам подобного ряда имею честь заявить, что я ни разу, именно так – ни разу, никого в интернате не тронул пальцем. Почему-то я сразу понял, что слишком могущественен для того, чтобы обижать местных, быть может, в чём-то ущербных, но всё же чрезвычайно симпатичных обитателей.

Как я уже говорил, учителя здесь не держались и на тот момент, когда в интернате появился я, а было это как раз в начале нового учебного года, собственно говоря, сентябрь это и был, настоящими учителями здесь значились лишь два человека: Александр Сергеевич Мошонкин (видит бог, никому даже в голову не приходило обстедать его неблагозвучную фамилию), мужчина лет пятидесяти, перекаати-поле, дважды, насколько стало нам известно, бывший в матримониальных отношениях, имевший от этих браков троих детей, но по причине частого злоупотребления алкоголем вынужденный попрощаться и с первой, и со второй своими семьями, а также с парой дюжин рабочих мест, связанных как с преподавательской деятельностью, так и вовсе не связанных с нею – он отвечал за все дисциплины, которые именовались

точными, то есть математику, физику, химию и всё такое прочее; и Елена Марковна Басовая, женщина тридцати пяти лет (выглядевшая временами значительно старше, а временами необычайно моложе, загадку этих преобразений мне так и не удалось раскрыть), абсолютно одинокая, замужем ни разу не числившаяся, по всей видимости, даже не вкусившая сомнительной прелести плотской любви, то есть попросту говоря бывшая девственницей, детей, друзей, подруг и даже близких родственников не имевшая и по этой причине однажды решившая, что обычная школа (кроме как училкой она, разумеется, стать никем больше не могла) не для неё, а ей необходимо служение Высшей, пусть чрезвычайно смутной, неясной, но всё же Идее в школе для придурков – она отвечала за все гуманитарные предметы: литературу, русский и иностранные языки, историю и ещё чего-то такое же. Физкультуру и труд заставили вести санитаря, не того, кто провожал меня до дверей палаты, а другого (но они, надо сказать, чрезвычайно походили друг на друга – а было их в заведении всего два – отчего их постоянно путали). Звали санитаря-учителя вроде бы Пашей, второго санитаря, моего проводника, насколько мне помнится, вроде бы Сеней – в общем-то, несмотря на то, что видеть их приходилось каждый день, мы особо с ними не общались. Как-то не тянуло.

Роль четвёртого и последнего учителя в списке преподавательского состава интерната исполнял главный врач, армянин по национальности, Ашот Тигранович Епископян. Фамилия эта особенно не нравилась нашему священнослужителю, отдавшему душу свою светлому образу Рыгающего Иисуса, Григорию. Он внутренне воспринимал её как вызов собственной личности. Епископян вёл – ну, скажем, как бы вёл – один-единственный предмет, почему-то предметом этим была география. Я до сих пор не пойму, кто придумал такой нелепый расклад, при котором этот достаточно умный и даже вроде бы талантливый в своём деле, но весьма ограниченный в общемировых познаниях (скажем честно) представитель армянской диаспоры на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, кроме Ленинанкана и Еревана географических названий не знавший в принципе, вдруг был задействован в качестве географа. Впрочем, возмущения мои на этом придётся оборвать, потому что кроме двух неоконченных уроков за несколько лет, проведённых в лечебнице, других действий, связанных с преподаванием географии я за ним не помню. Практически не помню я его и в других ипостасях: иногда он заходил к нам в палату, совершая обход, но никогда никого не осматривал, лишь бегло заглядывал нам в глаза и тут же, видимо удостоверившись, что критических превышений в отрицании действительности мы не демонстрировали, торопливо ретировался. В кабинет к нему мне ни разу заходить не приходилось (о чём я, разумеется, и не думаю жалеть), да и вообще общаться с ним по большому счёту не довелось, кроме одного случая, о котором речь пойдёт ниже. Да и та пара фраз, которыми он одарил меня при том скорбно-эмоциональном моменте даже слабым подобием общения назвать трудно. Он был каким-то летящим, этот главврач Епископян, вечно погружённым в себя, о чём-то думающим, что-то прикидывающим, потому на нас, досадное недоразумение, как и на прочий персонал интерната, недоразумение ещё более досадное, внимание предпочитал не обращать. Сейчас я вспоминаю, что мы, знавшие всё и вся про всех работников нашего заведения, абсолютно ничего не знали о его личной жизни. Наверное, это произошло оттого, что ничего знать о нём мы в общем-то и не хотели. Если человек не пытается нам надоедать, зачем же мы будем предпринимать какие-то попытки проявить к нему интерес?

Контингент подростков-дебилов насчитывал все школьные возрасты – от первого до десятого класса. Всего же нас набиралось, по крайней мере, способных к учебной деятельности, человек тридцать – да, совсем немного. Как раз один школьный класс. Был ещё десяток неспособных – они либо лежали, не поднимаясь с постели, либо просто передвигались из угла в угол – сущие растения. Интернат был, как видите, достаточно небольшим как по численности подопечных, так и по занимаемой площади заведением. В этом же здании, на разных его этажах, располагались гастроэнтерологическое отделение городской больницы номер три, детская

стоматологическая поликлиника, травматологический пункт, а одно время – впрочем, недолго, по причине ремонта основного здания – даже и роддом.

Для каждого возраста школьников учителей никто подбирать не собирался – это было просто-напросто неосуществимо, а потому преподавание велось для всех сразу, как в сельских школах после революции: за этой партой первоклашки, за той – второклассники, и так далее. На практике же все придурки регулярно смешивались, рассаживаясь так, как им заблагорассудится, и учителя даже не думали преподавать отдельным партам разные вещи. Учитель просто приходил в класс и давал, как мог и хотел, урок. Сначала это мог быть урок природоведения для третьего класса, а потом, сразу за ним, урок алгебры и начал анализа за десятый класс. Совершенно не собираюсь метать критические стрелы в эту методику и даже считаю её абсолютно революционной и крайне необходимой для повсеместного использования на территории нашей страны и всей планеты Земля. Судите сами, за несколько лет я прошёл, хоть и бегло, всю школьную программу, успев выучить как то, что ожидало меня лишь лет через пять лет, так и повторить то, что изучал несколько лет назад. Знания в черепушке остались объёмные, яркие и что самое главное – формирующие целостную и непрерывную череду взаимосвязей и сообщающихся истин о науке как таковой и предметах её исследований. Я искренне благодарен людям, придумавшим эту систему, за твёрдые и не забытые по сей день знания.

Уроки Елены Марковны являлись для нас сущим праздником и отдохновением души. Эта закомплексованная и нелепая женщина в очках непременно добиралась в интернат в расстроенных чувствах: ей обязательно кто-то наступал на ногу в троллейбусе, нехорошо и явно с желанием сглазить сверлил неистовым взглядом тонко ощущающий мировую материю затылок, либо же нарочно шёл навстречу по той же стороне дороги, что и она, отчего постоянно возникали нелепые ситуации метаний, когда никто из двух встретившихся в неурочном месте и в неурочное время бедолаг несколько напряжённых секунд никак не мог обойти своего визави. Эти ситуации наводили Басовую на глубокие и жутко депрессивные размышления о царившей вокруг несправедливости, о чёрствости души человеческой и о лживой природе главенствующего на этой планете вида, именуемого для конспирации на мёртвом латинском языке *Homo Sapiens*. Размышления эти, должен я заметить, были в общем и целом верными, правильными и очищающе-благодетельными. Я сам вырос и развился из подобных сиюминутных и вроде бы абсолютно ничтожных раздумий над ещё более сиюминутными и ничтожными ситуациями. Проблема состояла лишь в том, что слабая и какая-то искривлённая натура этой несчастной женщины трактовала их исключительно в истерично-плаксивом ключе, не делая и, судя по всему, даже не пытаясь сделать мало-мальски честные выводы о мире и своём в нём месте. То есть выводы, которые побуждали бы к борьбе, к сопротивлению, ну, или хотя бы к каким-то ментальным попыткам отторжения лживой реальности. Нет, Елена Марковна тихо плыла по течению в сторону неизбежной и чудовищно страшной для такого типа людей старости и, насколько я мог судить, даже отчаялась цепляться за надежды, за их подобия и даже за фантомы их подобий.

Войдя в класс (под него была приспособлена одна из пришедших в аварийное состояние палат с протекающим потолком и здоровенными щелями в стенах), она неизбежно краснела, дико смущалась и, едва приблизившись к учительской парте и положив на неё сумку, начинала машинально себя ощупывать, словно бы не понимая, где она находится и не в собственный ли сон затянули её зловередные силы зла, которые всегда были к ней немилостивы. Дебилы сидели тихо и молча ждали, когда учительница придёт в себя. Через пару минут ей это действительно удавалось – она доставала из сумки учебник и общую тетрадь с ручкой, судорожно поправляла очки на переносице, начинала, почти заикаясь, говорить и совершать необходимые для подобного рода общения движения.

Я ощущал все её переживания острее и болезненнее образом, я видел в ней родственную душу. Я понимал, что мы происходили из тех же впадин жизни, из тех же затемненных её областей, из той же потерянности. Мне хотелось приблизиться к ней, обнять за плечи, погладить по голове и даже пойти на принципиальную ложь, попытавшись утешить её словами о том, что в этом мире всё не так уж и плохо, что просто нужно найти необходимую точку равновесия, что жить можно с удовлетворением, что счастье приходит к нам рано или поздно – увы, подобные слова являлись для меня слишком откровенной неправдой, чтобы на них могла решиться моя болезненно честная по отношению к самому себе сущность. Я был крепок, я был стоек, я был жесток – я никак не мог в утеху сиюминутной слабости перечеркнуть в себе стройную и холодную Истину, да и себя самого вместе с ней. Я не мог позволить себе жалость. Жалость – это самое ничтожное из всего конгломерата эмоций, бурлящих в молекулярной структуре этой Вселенной. Похоже, нечто подобное ощущали и мои собратья-дебилы, даже самые безнадежные из них, даже самые тупые.

Слава несуществующему богу, что состояние это никогда не продолжалось больше нескольких мимолётных минут и всегда улечивалось. Елена Марковна осваивалась, голос её твердел, она начинала объяснять тему урока, задавала вопросы и даже порой повышала голос на своих нерадивых учеников, большинство из которых, по правде говоря, ни разу не соблаговолило предпринять и малейшую попытку к изучению её предметов. Наша продвинутая четвёрка отвечала на вопросы, стремилась вступить в дискуссии и мыслительные спекуляции. Забивать на учёбу в интернате я уже не стремился: ситуация изменилась, теперь Протестом стало не игнорирование учёбы, а её осуществление. Иногда к нам присоединялась пара-тройка девчонок с задних парт, но в силу своей истинной, а не мнимой умственной ограниченности они быстро сходили с дистанции и облегчённо принимались смотреть в окно, из которого на их счастье виднелись ветки деревьев, а иногда – располагавшиеся на них птицы.

Все, даже самые клинические придурки, понимали, что проблема у Басовой, по большому счёту, одна-единственная – отсутствие хорошего траха. Великий Писатель Игорь однажды рассказал мне, что не раз подумывал (как и я, чёрт возьми, как и я!) предложить застенчивой учительнице – естественно в самых благих и исключительно лечебных целях – несколько сеансов мимолётного, дружеского, ни к чему не обязывающего секса, но всякий раз обламывался. Видимо, по тем же самым причинам, что и я, не желая открывать створки своей личности перед коварной и непредсказуемой жалостью.

Тем не менее, эротика в отношениях между Басовой и нами, придурками, присутствовала. Выражалась она в абсолютно прелестных, просто-таки карнавальных формах. Пару раз в неделю кто-то из не шибко отсталых, но и не особо блиставших умом пациентов, сидящих где-то на последних партах, выкрикивал в скрипящую гниющим деревом стульев и парт пустоту одно-единственное слово: «Трусы!» Происходило это обычно в самом конце урока. Елена Марковна вздрагивала, раскрывала и без того выпученные глаза во всю свою незавидную ширь, моментально краснела и как бы этак судорожно сжималась.

– Трусы! – снова раздавался чей-то голос, уже другой.

– Трусы! – вторил ему третий. – Хотим увидеть трусы!

Басовая нервно и жалостливо потирала друг о дружку ладони.

– Ну, я даже не знаю... – смущённо произносила она.

– Ну, Елена Марковна! – начинал просить кто-то из девочек. – Ну пожалуйста! Ну покажите!

От волнения Басовая снимала очки и лихорадочно бросала их на учительский стол.

– На вас в прошлый раз такие интересные были!... – не унимались девочки. – Нам очень понравились.

– Действительно?! – искренне удивлялась женщина.

– Просим! – начинал кричать хор из двух-трёх голосов, тут же возраставший до всех присутствующих. – Про-сим!!! Про-сим!!! Про-сим!!!

Придурки, в их числе и я, хлопали в ладони, подбадривая смущённую учительницу, взгляды их оживлялись, кровь начинала пульсировать по артериям веселее. Все знали, что Басовая не сможет отказать. После нескольких убедительных и громогласных просьб, она выходила из-за парты, вставала так, чтобы её могли увидеть все и, неторопливо, испуганно-трепетно смакуя каждое мгновение, задирала до пояса юбку. Нашему взору открывались её симпатичные трусики – готов биться об заклад, что она действительно понимала кое-что в ношении трусов, они непременно бывали чудо как хороши и возбуждающи. Два раза подряд не повторялся ни цвет, ни фасон. Иногда это могли быть белые кружевные панталончики, иногда – голубенькие короткие и тугие миниатюрные плавки, чрезвычайно плотно и соблазнительно облегавшие её нетронутые бёдра, а порой Елена Марковна могла порадовать нас и вызываяще ярко-красными и отчаянно сексуальными трусиками-танга (явно западного производства, потому что советская промышленность на такое бесстыдство ещё не отважилась), придуманными исключительно для того, чтобы быть сорванными во время любовных утех сильными и трепетными руками любовника.

Неизменно стриптиз учительницы заканчивался бурей аплодисментов. Смущённая, но и чрезвычайно польщённая таким пикантным вниманием к собственной персоне, Басовая оправлялась домой повеселевшая и похорошевшая. В эти быстротечные минуты она наконец-то ощущала себя женщиной.

Учитель Мошонкин, тот самый, который Александр Сергеевич, при ближайшем рассмотрении оказался доморощенным спивающимся философом – в те дни, когда он приходил на работу выпимши, что происходило регулярно, он предпочитал заводить с нами глубоко-мысленные разговоры о сущности мироздания и человеческой натуры. В дни же, когда ему удавалось предстать перед нашими очами трезвым, он, как все пьяницы, становился злым, критически оценивал своё местоположение в жизни, вспоминал нелепые эпизоды на уроках – многочисленные падения, двусмысленные высказывания, незастёгнутую ширинку и всё такое прочее – что могло бы, по его трезвому взбудораженному мнению, быть истолковано нами, учениками, как его полное и бесповоротное унижение и принимался впаривать нам какие-либо формулы из высшей математики. Придурки, не имевшие ни сил, ни таланта, и даже ни малейшего желания воспринимать из чьих бы то ни было уст обыкновенную таблицу умножения, а не что-то там этакое из математических дебрей, подобные формулы игнорировали неподдельно тупым, искромётным молчанием. Пытаясь бороться с ним, Мошонкин ходил по рядам и раздавал ученикам подзатыльники, отлично зная, что ни малейшего эффекта такие меры не возымеют. Мы дико ненавидели этого усатого сморщенного дядьку в дни его озлобленной трезвости.

Впрочем, почти ни один такой день трезвым он всё же не заканчивал. На втором, третьем, ну, или на худой конец четвёртом уроке – он вёл их подряд несколько, благо предметов преподавал кучу – ему всё же удавалось где-то раздобыть выпивку, не смотря на якобы царивший в интернате строжайший режим, и она – истина в вине! – возвращала его в благодушное, миролюбивое и болтливое состояние. Таким он нам нравился куда больше. Его взгляды на жизнь, хоть и не были вопиюще приземлены и банальны – некоторая оригинальность в них всё же присутствовала – но в целом за пределы очерченных обществом условностей и табу не выходили. Тем не менее, потрепаться с ним было занятно.

– Вот скажи мне, Распутин, – останавливался он у парты, за которой мы сидели вдвоём с Гришей и, хитро улыбаясь, дышал на нас сладковатым перегаром, – что в твоём понимании есть Абсолют?

У Гриши на самом деле была такая фамилия, она чёрным по грязно-белому значилась в его свидетельстве о рождении.

Гриша только и ждал подобного вопроса. Он был рождён, чтобы вести разговоры об Абсолюте. Именно за них его оградили от здорового и разумного общества.

– Господу помолясь, приступим, – торжественно выдыхал он воздух из искрящихся огнём религиозного пафоса лёгких. – Прежде чем приступить к осмыслению Абсолюта, – говорил он, – я желал бы себя и всех вас, о мои мятущиеся други, настроить на несколько другой лад, пустить по немного иной тропке, поселить в вас слегка чужеродную эмоцию, попросту говоря задать простой, но непонятный вопрос: «Не есть ли умственная конструкция, формирующая пространство для попыток осознания сущности Абсолюта, сама по себе констатацией отсутствия этого Абсолюта?»

– Не скажи, не скажи, – тут же возражал довольно улыбающийся Мошонкин. – Что за связь может существовать между мной, несчастным смертным, и всемогущим Абсолютом, которая может помешать ему быть существующим и здравствующим? Я, да как и ты, мы слишком ничтожны, чтобы причинять какие-либо неудобства Абсолюту.

– Сдаётся мне, уважаемый профессор (такое обращение жутко льстило учителю, он тотчас же представлял себя возвышающимся из-за кафедры лекционного зала физико-математического факультета Московского университета, куда он когда-то раза три или четыре безуспешно поступал), – с достоинством парировал реплику Мошонкина Гриша, – что вы идентифицируете с Абсолютом некое существо, именуемое Богом, причём в самом примитивном, мультипликационно-нелепом его понимании, как некую могущественную сущность, которая восседает где-то там, в параллельных материях, и контролирует все остальные, слабые и никчемные существа, тех же людей, к примеру. То есть, по-вашему, вы с Абсолютом две единицы мироздания, просто одна влиятельная, а другая – уморительно ничтожная, и отношения ваши строятся, как в пошлых учебниках отечественной психологии по субъект-объектному принципу. То есть неким образом более могущественное существо, именуемое Абсолютом, оказывает непрерывное влияние на более примитивное существо, хорошо всем известное под именем Александра Сергеевича Мошонкина. А то, в свою очередь, не имея возможности сопротивляться этому влиянию, может, однако, заниматься рассуждениями и всякими прочими осмыслениями, представлениями и умозаключениями о его телесно-духовной форме и конечном предназначении в причинности. Однако я вижу картину по-другому. Абсолют, вообрази я себе его реальным, представился бы мне универсальным вместилищем всей суммы мировых наработок во всех без исключения сферах – от материальных до ментальных. И что же тогда вылезает наружу из всего этого? А из всего этого наружу лезет простая мысль, что я, ты, он и она, вся наша и не наша дружная и недружная семья, все мы и должны быть проявлением этого самого Абсолюта, а попросту говоря – его неотделимой частью. Мы и есть Абсолют, заявляю я во всеуслышание! И вот представьте себе ситуацию, при которой часть целого, занимаясь бессмысленным осмыслением всего этого самого целого, то есть и самого себя, вдруг вольно или невольно начинает отделять себя от всей величественной и непреходящей цельности, а значит попросту разрушать её – пусть не материально, но на уровне осознания, а как мы с вами знаем или желаем знать, именно на этом уровне и складывается во Вселенной всё сущее. Итак, часть, а вслед за ней миллиарды триллионов других частей отделили себя от целого пирога одним лишь мыслительным усилием. Вы можете возразить, что Абсолют не перестанет быть от этого Абсолютом, но тогда я отвечу вам, что такая конструкция, как Абсолют, может существовать лишь в ауре слепой веры, лишь так рычаги и шестерёнки её конструкции придут в действие. А если же веры нет, если каждая из частей отделилась и прокляла целое, другие части и саму себя вместе с ними, то значит всё в этом мире бессмысленно, и в то же самое время это значит, что никого Абсолюта не может быть и в помине, потому что Абсолют это и есть смысл. Это и есть Смысл, – поднял он палец вверх, – говорю я вам, ибо что же ещё

другое может быть Абсолютом, кроме как вполне понятный каждой молекуле, реальный и осознаваемый Смысл, который и сцепляет истинной мотивацией всё, что существует в этом мире.

«Чёрт возьми!» – восхитился я. – «Да это же и есть то самое доказательство отсутствия объективного мира. Меня нет, вас нет, ничего нет, потому что нет Смысла».

– Ты хочешь сказать, – удовлетворённо блеснул пьяненькими глазами Мошонкин, – что Смысл должен быть понятен каждой молекуле?

– Именно так, – подтвердил Распутин.

– А если нет Смысла, то есть если он непонятен каждой молекуле – значит, ничего нет в принципе?

– В принципе, – кивнул Гриша.

– Но как же ты тогда объяснишь мне то, что я мыслю и осознаю себя? Что я вижу и чувствую? Что слышу и даже сру?

– Этому может быть множество объяснений, – вступил в разговор я. – С чего вы вдруг решили, что ваши мысли и осознания объективны? Каким инструментом можно определить это? Почему бы не предположить, что ваши мысли, ощущения и осознания предложены вам извне?

– А-а! – отмахнулся с кривой усмешкой Мошонкин. – Опять теории заговора. На этот раз во вселенском масштабе. Сколько я их переслушал за пятьдесят два года своей бессмысленной жизни! А сколько сам передумал и перефантазировал! Я могу, теоретически конечно, предположить, что мои мысли необъективны, что они насаждаются извне – хотя тут же возникает резонный вопрос «Кем?», уж не тем ли самым отсутствующим по вашим предположениям Абсолютом? – что мой мозг вовсе не имеет способность отражать объективную реальность, что всё вокруг – это химера, но как же быть, скажите мне на милость, с процессом калоотделения? Как быть с ним? Что, мне каждый раз снятся эти кучи говна?

Аргумент был весомым. Моя куча говна, та самая, что вывела меня из состояния равновесия и дрёмы, была самая что ни на есть значимая и реальная. Иначе как бы я осознал на её фоне нереальность всего остального? В общем, я почувствовал в этот момент, что пока слабоват для философских дискуссий, что могу быть легко пойман на противоречии более опытным и нахрапистым противником и что надо это упущение как-то исправлять.

– Мне кажется, – всё же продолжал я, уже совершенно не рассчитывая на убедительность своих аргументов, – что одним из доказательств отсутствия объективной реальности может служить фактор времени.

– Ну-ка, ну-ка! – заинтересованно перевёл на меня потухший было взгляд слезящихся глаз Александр Сергеевич.

– Вот посмотрите, – принялся развивать я своё понимание проблемы, – время говорит нам о том, что раз что-то было создано, оно непременно когда-то исчезнет. Исчезнет всё: мы с вами, наша Земля, сама Вселенная, если верить конечно этой сомнительной теории Большого Взрыва, а раз что-то исчезнет, то с позиций Абсолютного Времени – ведь мы говорим сейчас об Абсолюте, значит, именно эту категорию должны рассматривать в качестве мерила времени, которое единственное существует как данность – ничего не было и в помине. Разве упомянуть Абсолютному Времени какого-то Александра Сергеевича Мошонкина с какой-то планеты Земля, существовавшей в какой-то одной из бесчисленного множества вселенных, то и дело вспыхивающих и гаснущих? Что для Абсолютного Времени такой Мошонкин? Тлен, пустота, ничто.

Прежде чем ответить, Александр Сергеевич присел за свой стол и отхлебнул из бутылки, завернутой в газету «Гудок», которую по моему малолетнему впечатлению покупали исключительно из-за кроссвордов (ну кому в здравом уме интересны вопросы функционирования советских железных дорог?), некую горячительную жидкость.

– Этот довод неплох, – похвалил он меня. – И даже убедителен. Но при всём при этом он не отменяет категории Абсолюта, а наоборот возводит её на совершенно уникальный пьедестал. Получается, что Абсолют – это время.

– Я не согласен, – подал голос Слава, Колумб Запредельности. – Я не согласен с тем, что вы ставите время в положение Абсолюта. С чего вы собственно взяли, что оно вообще существует, это самое время?

– Ну как же, – искренне удивился Мошонкин. – А как же смена дней, лет? Смена эпох? Ведь ты не будешь спорить с тем, что живёшь не в Древнем Египте, а в счастливом Советском Союзе? Значит, пара тысячелетий всё же убежала куда-то.

– Почему же не поспорить? – не сдавался Колумб. – Во-первых, я совершенно не уверен в существовании Древнего Египта. А также Древней Греции и Древнего Рима. По моему глубокому убеждению – это чистой воды исторический бред. Они придуманы в более поздние времена как некий благостный ориентир, на который стоит оглядываться для подстёгивания колёс прогресса. А может, они придуманы просто от глупости. Но сейчас речь не об этом, не буду углубляться в эту тему. Речь о том, что, говоря о времени, мы приходим к выводу, что обязаны трактовать его не просто как смену событий, дней и лет, а как некую почти материальную субстанцию, существующую помимо человеческой и чьей бы то ни было воли. Насколько мне известно, именно так она и трактуется в вашей любимой физике. Но если принять существование времени именно в таком качестве, то тут же возникает множество проблем, связанных с присутствием в её поле материи. Задумайтесь хорошенько, представьте эти две субстанции во всей своей безбрежности, прочувствуйте структуру их ткани, и вы придёте к выводу, что они не могут существовать друг в друге. Время никогда и ни при каких обстоятельствах не смогло бы породить материю, даже на самую ничтожную долю мгновения. Я понимаю, что с позиции Абсолютного Времени, о котором вы сейчас говорили, даже одна доля мгновения может вместить в себя существование бесчисленного количества вселенных, но время даже на эту долю ничтожного мгновения не смогло бы удержать в себе существование материи. Время, как я могу его вообразить себе, – это безжалостный молох, это Абсолютное Ничто, это сама великая и безбрежная Пустота. Только представьте на минуту его сущность, и вам станет ясно, что я прав. Впрочем, как вы видите, я тоже пришёл к определению Абсолюта – на радость ли вам или к огорчению. Абсолютом у меня получилось опять-таки отсутствие. Ничто. Пустота. Но я всё же воздерживаюсь от признания этих звучных слов Абсолютом, потому что если допустить, что Ничто – это данность, и оно при этом Абсолют, то тут же начнётся безудержная череда допусков о том, что при существовании Ничто неизбежно должна возникнуть дихотомия, отражение, противоречие и соответственно – родиться Нечто, или Кое-что, или Чего-то Такое.

Колумб на секунду задумался.

– Хотя это допущение вполне доказательным образом укладывается в возникновение мира, меня и вас. В общем, я ещё должен подумать над построенной мной конструкцией и развить представляющиеся мне на данный момент тупиками ответвления в её структуре.

– Теория имеет право на существование, – тяжело выговорил успевший ещё раз – и достаточно обильно – отхлебнуть из сосуда, скрываемого уважаемой газетой советских железнодорожников Александр Сергеевич. – Только сдаётся мне, Черемыслов (такую фамилию носил наш Колумб), что все эти возможные допущения возникают в ней именно оттого, что она сама – одно большое допущение и зиждется не на каких-то объективных наблюдениях и ощущениях, а сугубо от большого, но шарахающегося и развивающегося в целом как-то кривовато ума. Прошу считать, – попытался он улыбнуться Славе, – мою последнюю фразу комплиментом.

Пришла очередь высказать свои соображения по обсуждаемой проблеме и Великому Писателю Игорю. Заранее сообщаю (потому что не помню, обращался ли к нему во время воспроизводимой мной дискуссии Мошонкин по фамилии), что его фамилия была Заворожин. Сам он предпочитал рассматривать её происхождение от каких-то колдунов, проживавших на просторах Среднерусской возвышенности, – мол, ворожить, ворожба, – но его одноклассники по средней школе, где он учился до интерната, склонны были думать по-другому, дразня ранимого писателя, отказывающего записывать свои произведения на бумаге, на магнитофонной ленте и даже вообще, как я понимаю, заключать их во все эти лживые и переменчивые слова, дразня его выражениями, в которых так или иначе присутствовали девиации от слова «рожа». Интернат оказался местом, где Игоря наконец-то избавили от этого идиотского преследования.

Все свои соображения он высказал в традиционном для себя ключе: как истинный бунтарь против слов, а соответственно и смыслов, вкладываемых в них, он попытался убедить нас в тщетности самих попыток конструирования определений Абсолюта.

– Абсолют, если он и возможен в природе, – говорил он, – только тогда и станет Абсолютом, если ему невозможно будет подобрать определение. Ну что это, право слово, за Абсолют, если его можно недоразвитым человеческим умом поместить в буквенно-смысловой контейнер и заставить там барахтаться на радость всем остальным любителям придумывания определений и допущений. Абсолют неизменно должен ускользать от определений. Если вы назвали Абсолютом время, то в следующее же мгновение это самое время – вполне вероятно действительно являвшееся самым настоящим Абсолютом на протяжении пары-тройки триллионов лет – моментально перестанет быть таковым. Если вы нарекаете Абсолютом пустоту, то и она моментально ускользает из-под этого колпака. Даже если я заявлю вам сейчас, что Абсолют – это и есть Неопределимое, то тотчас же это понятие – Неопределимое – перестанет быть Абсолютом. Абсолют – это то, чего нельзя никогда и не при каких обстоятельствах назвать. Это вечно ускользающее от определений понятие. Возможно, его нельзя обозначить определением в силу убогости человеческого ума, а возможно и по причине его окончательного и бесповоротного отсутствия. В конце концов, давайте всё же согласимся с тем, что без Абсолюта, по крайней мере, без его натужных определений, нам будет житья гораздо спокойнее и безопаснее. По крайней мере, никто из когорты таких славных малых, как мы, не сможет покуситься на его целостность.

Дискуссию об Абсолюте можно было считать законченной, но высказаться в ней вдруг возжелали и некоторые другие собраты-придурки. Красноречием и витиеватостью суждений они не обладали.

Первым взял слово – о чём его никто не просил, а даже наоборот постоянно сдерживал – цыган Яша. Цыган Яша был действительно цыганом и действительно Яшей. Он очень гордился совпадением имени и национальности с героем фильма «Неуловимые мстители» и был, по правде сказать, весьма похож внешне на актёра, сыгравшего эту роль. Как все цыгане, Яша пел и плясал, причём, как правило, одну и ту же песню: «Спрячь за высоким забором кого-то там». Почему-то ему позволяли иметь в палате гитару и носить красную рубаху. Краем уха я слышал, что в первые месяцы Епископян запрещал ему эти вольности, но Яша придумал эффективный способ борьбы за свои права – он орал дурью и с разбегу врзался головой в стену. За возможную гибель пациента Епископяна по головке бы не погладили, поэтому он махнул на Яшу рукой.

Яша был воплощённой стихией цыганской свободы. Именно за эту стихию его и упекли в интернат. Ему непременно требовались празднества, куражи, песни и пляски. Так как в интернате они не позволялись, а Яша кроме игры на гитаре желал и искромётных попоек с бабами и забавами, отчего регулярно напивался, частенько санитарам приходилось привязы-

вать его к кровати. Слава богу, что палата его располагалась в другом конце коридора, и его еженощные гуляния беспокоили нас меньше остальных. Впрочем, на самом деле Яша был славным малым, и всё его неадекватное поведение шло исключительно от страха одиночества. Епископьян его этим и пугал: вот, мол, разойдётся не на шутку, я тебя в одиночную палату закрою. Яша после этих угроз непременно успокаивался.

Он заявил следующее:

– Пусть вы дураком меня сочтёте или, ещё того хуже, душевнобольным, но я вам просто скажу: единственный известный мне Абсолют – это сорт водки.

(Сразу же возражу всезнаистым товарищам, которые уже начинают в этом месте возмущаться, что, мол, какой «Абсолют» мог быть в советские времена – он в России только с приходом капитализма появился: мог, да и был. Не в массовой продаже, из-за бугра и подпольно, но и советские люди его на вкус пробовали).

– О-о! – обрадовался Мошонкин. – Наконец-то кто-то дельную вещь сказал.

– А других абсолютов я не знаю, да и знать не желаю. Разрешите песню спеть.

– Не надо, Яша, не надо, – осадил его мягко Александр Сергеевич.

– А выпить позволите? Вашего.

– Это не «Абсолют», – нашёлся с ответом учитель. – Да и нельзя тебе.

Рубаха-парень Яша с моментально погрустневшими глазами, такими безбрежно скорбными, что плакать хотелось, затих и уселся на своё место.

Следующей слово взяла Книгочая Танечка. Её случай был гораздо тривиальнее – Танечку сочли дурой за безудержное пристрастие к чтению книг. Выдающаяся вперёд верхняя челюсть, отчего Танечка выглядела действительно как нездоровый человек, а говорила с какой-то немислимой шепелявостью, могла ввести в заблуждение кого угодно, но только не меня. Человечество, пропагандирующее чтение как показатель развития умственных способностей, почему-то отказывалось принимать людей слегка превосходивших среднестатистическую норму поглощения книжных страниц. Я готов признать за прочими обитателями нашего интерната, и за собой в том числе, определённые отклонения от того, что считалось праведными людьми нормой, но в Танечке я не видел ни малейших искажений. Она была абсолютно – раз речь идёт об Абсолюте, то лучше определения не придумать – просто абсолютно нормальна. Она перелопатила за свою недолгую жизнь огромное количество книг и, к своему счастью, почти все тут же забывала. В интернате к ней относились с демонстративным безразличием и лишь Великий Писатель Игорь испытывал к ней более сильную гамму чувств, колебавшуюся от полного и безоговорочного презрения, до безграничный, какой-то надрывной даже жалости.

– А вот я читала, я читала, – зашепелявила и забрызгала слюнями Книгочая Танечка, – что в африканских племенах девочкам при достижении определённого возраста отрезают клитор, а ещё я читала, что клитор – это такой важный орган, без которого невозможна полноценная сексуальная жизнь женщины, но почему-то у себя я не могу найти никакого клитора, и вот задумываюсь порой, уж не в Африке ли я родилась и была привезена в Советский Союз незаконно?

Обычно Танечку молча выслушивали и продолжали заниматься своими делами, но Мошонкин на этот раз высказался резковато:

– Ну и какое отношение это имеет к Абсолюту?

Танечка дико засмушалась, покраснела, а так как учительская фраза сопровождалась смешками класса, попыталась слиться, в целом безуспешно, с поверхностью парты.

– Абсолют существует только на уровне ощущений, – запульнула вдруг в пространство класса неожиданно разумную фразу Шлюшка Света. Да, именно так её все называли, причём не только за глаза, но и в глаза. Она ничуть не обижалась, ибо гордилась тем, что занималась

проституцией. Я её как-то побаивался – она была слишком красивой и высокомерной, смотрела на мир глазами светской дамы и окружающих оценивала исключительно по материальной составляющей. Естественно, врачи и преподаватели выглядели в её серо-зелёных, без дураков симпатичных глазках куда более привлекательными, чем собратья-придурки. Я знал, что кое-кто из них занимался с ней, как говорят сейчас, любовью, причём не особо таясь. Нам же Света категорически не давала, а лишь иногда, в минуты неопределённого настроения, позволяла трогать за интимные места. Шлюшка Света то и дело впадала в тяжелейшие депрессии, которые продолжались практически без перерывов и выражались в безудержном сосании пальца. На момент, когда происходила дискуссия об Абсолюте, депрессия Шлюшки Светы находилась, судя по всему, не в очень глубокой стадии, потому что у неё хватило сил вытащить палец изо рта и произнести несколько, как сейчас говорят, продвинутых фраз. – Приятный мужчина, интимная близость, страстная нега – вот что такое Абсолют. А не то, что вы тут напридумывали.

– Браво! – поаплодировал, облизнувшись на Свету, Александр Сергеевич. – Предлагаю именно это определение Абсолюта признать на сегодня окончательным.

Урок завершился, и минут на десять Светина депрессия улетучилась.

Скрытые смыслы Перестройки

Время быстро бежит. Говорят, после сорока даже не успеваешь считать года. Быстро оно бежит и в детстве – года считать успеваешь, но удивления от того, как скоро они превращаются в прошлое, велико и ядовито.

Я и глазом моргнуть не успел, как пронеслись два с лишним года моего пребывания в интернате. Конец восемьдесят восьмого – знаменательное событие в моей жизни. Тогда, в декабре, я чуть не разрушил всю Армению, наслав на неё губительное землетрясение.

Почему Армению? Чем не милы мне армяне?

Да дело не в армянах. Это мог быть кто угодно. Это и был кто угодно – я и в Японии сотрясал землю, и в Перу. Но землетрясение в Армении памятнее – в нём я продемонстрировал таившуюся во мне Силу во всей красе.

– Вот оно! – бежал я по больничным коридорам, сжимая в руках свежий номер газеты «Известия» (между прочим, выписываемой, как и несколько других газет и журналов, интернатом), на первой полосе которой под большой фотографией рыдающей армянской старухи шла большая статья, переходящая на вторую полосу и вроде бы даже на третью, где подробно описывались все последствия моего злодейского деяния. Обо мне, к некоторому моему сожалению, в статье не говорилось ни слова.

Впрочем, чему тут удивляться? Всенародно раскрывать себя я не собирался (хотя и мог, прояви ко мне хоть какое-нибудь завалящее издание маломальский интерес), а откуда ещё могли узнать недалёкие журналисты «Известий» об истинных причинах произошедшего.

– Ещё немного! – бормотал я в сладострастном экстазе. – Ещё совсем немного, и я отправлю этот грёбанный мир в тартарары!

– Слышишь! – повышал я голос, на бегу поднимая глаза к потолку (вот только зачем – не к несуществующему же богу я обращался?). – Тебе не избежать этого! – грозил я притаившемуся и испуганному миру.

Мир безмолвствовал.

– Что за ёкэлэмэнэ?! – остановил меня на бегу главврач Епископян, схватив большой волосатой рукой за плечо. – Чему радуемся?

Он выглядел устало и потерянно. Тогда мне не пришло в голову, но сейчас я понимаю, что ведь, чёрт подери, Епископян был армянином, а значит не мог не переживать произошедшее в Армении со всей болью своего большого кавказского сердца. Сейчас мне даже приходит на ум, что в том землетрясении могли погибнуть его родственники.

Тогда-то между нами и произошёл короткий и в целом неприятный диалог, единственный за всё время пребывания в этой психиатрической клинике.

– Представляете! – радостно замахал я перед его лицом газетой. – Армения в руинах! Разрушены города и сёла! Чудовищный разгул стихии! Только они не знают, не понимают, кто на самом деле истинный виновник произошедшего!

– И кто же? – нахмурившись, произнёс главврач.

– Я! Ну конечно же я! А вы как думали? Это моих рук дело! В скором времени я вообще всю планету разнесу на кусочки. А за ней и...

– Как твоя фамилия? – сморщил Епископян лоб. Я почувствовал, что его ладонь плотнее и жёстче, прямо-таки до боли, обхватила моё плечо.

– Ложкин.

– Ложкин... Ложкин... Вроде бы в последнее время ты казался вполне здоровым.

– Да и я здоров! – возразил я. – Ну как же не понять. Всё дело в том, что...

И тут же мысленно махнул рукой – ну чего я открываю перед этим тупым доктором свою тайну?

– Надо будет прописать тебе новые процедуры, – произнёс он сурово и как-то даже зло. – Твоё стабильное состояние оказалось обманом.

Рука его разжалась, он повернулся и скрылся за дверью своего кабинета.

– Вот оно! – продолжил я свой радостный бег с газетой наперевес. – Вот!

Мои сопалатники, в отличие от ограниченного доктора, оказались впечатлёнными моими пусть пока и неосознанными, но всё же явными деяниями и поздравили меня с очередным громким успехом.

– Разрушитель, – хлопал меня по плечу Гриша. – Разрушитель Мира. Только так буду звать тебя отныне. Вот кто пойдёт дальше всех нас, вот кто заставит Причинность разговаривать с собой на «вы». Поздравляю, искренне поздравляю!

Остальные тоже присоединились к поздравлениям. Слух о моём успехе тут же разнёсся по всему интернату. Организовалось что-то вроде стихийной вечеринки: придурки доставали из запасников припрятанные на особый случай вкусные вещицы – вроде конфет, кабачковой икры или даже бутылки коньяка – и без жалости несли его в нашу палату, желая угостить меня и поздравить с успехом. Цыган Яша, припёршись с гитарой, спел в мою честь песню «Спрячь за высоким забором девчонку» (правильно, это была девчонка!), а Шлюшка Света сама, без малейшего принуждения, присела ко мне на колени и даже позволила весь вечер тискать себя за грудь. Видели бы вы с какой завистью смотрели на меня братья-придурки, причём независимо от пола! Даже девчонки понимали, что тискать Свету – это редкая привилегия в нашем больничном существовании, сравнимая с самим явлением древним евреям безмерного счастья в виде десяти заповедей и тащившего их под мышкой Моисея. Впрочем, именно Света позволила себе лёгкие упрёки и некоторые сомнения в целесообразности моей благородной деятельности.

– Ну, Вов, – выпив бокал коньяка, говорила она, томно заглядывая в мои обалдевшие от стопроцентного счастья, более лучезарные, чем у любого древнего еврея глаза. – Ну чем тебе не нравится этот мир? Откуда эта дикая настойчивость, с которой ты желаешь его уничтожить? Чем он тебе не мил?

И это говорило создание, не видевшее в этом мире ни единого благостного просвета! Более того, любой элемент этого долбанного мира вызывал в ней неизбежное отторжение и досадное депрессивное понимание того, что она никак не сочетается ни с ним, этим самым элементом, будь он мужчиной, кроватью или розовой юбкой, ни со всем миром в комплексе. Эта чистая девушка весь грех за эту несочетаемость принимала на свой счёт, обвиняя лишь себя – безмолвно, бестрепетно – за своё моральное, как она считала, уродство и за то, что не смогла вписаться в структуру окружающей действительности должным образом. Чёрт побери, осознав в себе всё это, я был поражён её невидимой кротостью, но согласиться с ней не мог никоим образом. Я ни на малейшую секунду не мог позволить себе предположение, что проблемы моей собственной несочетаемости с миром – это исключительно мои проблемы, а не его, этого самого гадкого мира. Я был твёрд в своих убеждениях, в своей цельности, в своей яви, в своей значимости: если миру не угоден я, то исчезнуть из нас двоих должен он.

Примерно это я и поведал ей.

– Но пока ты разрушаешь не мир, – вдруг выдала Света, – в первую очередь ты разрушаешь нашу страну, Советский Союз. Почему бы тебе не бабахнуть что-нибудь в Америке?

Эта претензия заставила меня задуматься на несколько секунд, но я довольно быстро нашёл ей объяснение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.